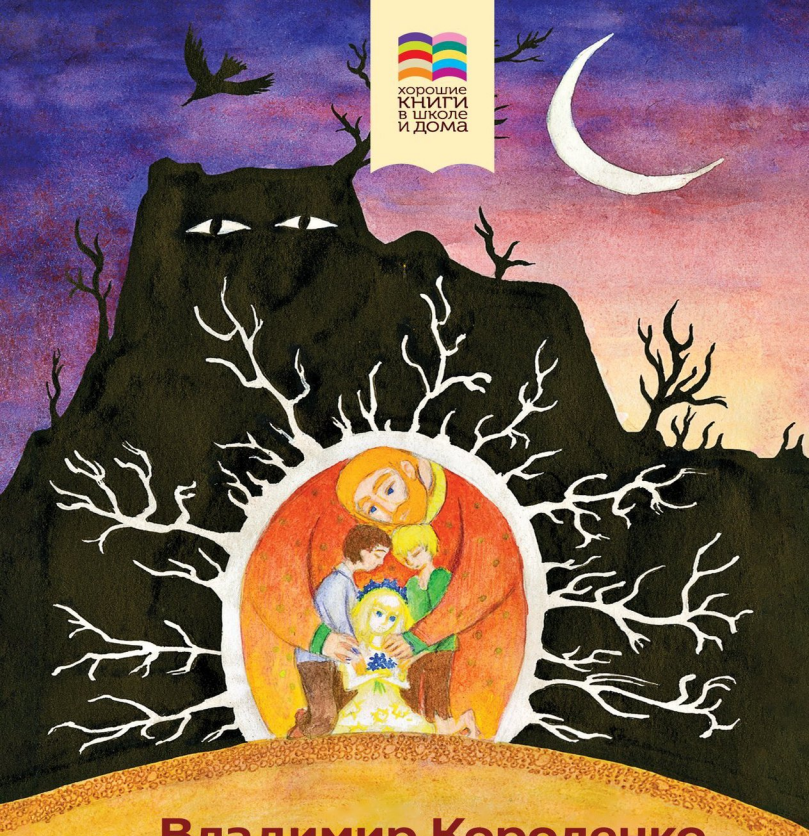
хорошие
КНИГИ
в школе
и дома



Владимир Короленко

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Дети подземелья

Владимир Галактионович Короленко

Аннотация
Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья
Дети подземелья
1. Развалины
2. Я и мой отец
3. Я приобретаю новое знакомство
4. Знакомство продолжается
5. Среди «Серых камней»
6. На сцену является пан Тыбурций
7. Осенью
8. Кукла
Заключение
Слепой музыкант
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая

Эпилог
Огоньки

Аннотация

Владимир Короленко – известный русский писатель и ярый правозащитник. Повесть «Дети подземелья» о бескорыстной дружбе между ребятами из обеспеченных и неблагополучных семей он написал во время пятилетней ссылки в Якутию.

В сборник входит еще два рассказа. «Слепой музыкант» знакомит с мальчиком, который вопреки недугу находит способ реализовать свой талант и обрести счастье. «Огоньки» – история о надежде, которая появляется в самые темные времена и помогает человеку двигаться дальше. Его произведения призывают совершать добрые дела, верить в лучшее и предпочитать горькую правду сладкой лжи.

Владимир Галактионович Короленко
Дети подземелья

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Дети подземелья

1. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моём существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле — никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому[1], но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-западного края.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной

---

[1] Примечания: 1

Захуда` лый — здесь: обедневший.

«заставой»[2]. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум[3] — и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах тёмными воротами еврейских «заезжих домов»[4]; казённые учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колёсами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот ещё минута — и вы уже за городом. Тихо шепчутся берёзы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного

---

[2] Примечания: 2

Заста́ва — заграждение при въезде в город. Традиционная застава — сохранившаяся от старинных времён.

[3] Примечания: 3

Шлагба́ум — подъёмный брус, которым закрывается или открывается проезд через дорогу.

[4] Примечания: 4

Заé́зжие (или постоялые) дома — дома, где на время останавливаются приезжающие.

телеграфа.



Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на

громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нём ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и моё детское испуганное воображение рисовало под землёй тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался ещё страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободрённые светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса[5], так страшно глядели чёрные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго ещё стоял стук, и топот,

[5] Примечания: 5

Пани́ческий ужас — сильный ужас, страх; выражение возникло из древнегреческих сказаний о Пане, боге лесов и полей, наводившем на людей внезапный и безотчётный страх.

и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и парил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня[6]. У неё кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Всё, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, — всё это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки[7], платя за гостеприимство лишь риском быть погребёнными под грудами старого мусора. «Живёт в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал

---

[6] Примечания: 6
Часо́вня — небольшой молитвенный дом с иконами и лампадками.

[7] Примечания: 7
Побе́дные голо́вушки — люди, испытавшие много бед и несчастий.

и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались — вообще как-то поддерживали своё существование.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям[8]. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось — уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя «добрых христиан» от безвестных личностей. Когда наконец порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были всё какие-то старики в потёртых сюртуках и «чамарках»[9], с громадными синими носами и суковатыми

[8] Примечания: 8
Преобразова́ть — изменить, переделать всё по-новому.

[9] Примечания: 9
Чама́рка — старинная польская одежда.

палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и салопы[10]. Все они составляли тесно сплочённый аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слёзы и клянча[11], а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костёлов[12] и величественно принимали подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Привлечённые шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над

---

[10] Примечания: 10

Ка́пор — женский головной убор, завязывающийся впереди лентами; сало́п — широкое женское пальто.

[11] Примечания: 11

Кля́нчить — просить.

[12] Примечания: 12

Костёл — польский католический храм.

высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные тёмные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник[13], тоже с увесистою[14] дубиной в руках.

И несчастные тёмные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться

---

[13] Примечания: 13

Бу́дочник — сторож-полицейский, стоявший на посту у караульной будки.

[14] Примечания: 14

Уве́систая — тяжёлая.

его серыми стенами и замшелою[15] старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облечённые[16] тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат всё, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер.

Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания.

Но с того вечера и замок и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдёт в нём вполне порядочное общество. Он даже привёл меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал

---

[15] Примечания: 15
Замше́лый — покрывшийся мохом.

[16] Примечания: 16
Облечённые — здесь: окружённые.

мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов[17]. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно[18], ругались между собой так громко. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о тёмных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провёл очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели[19], то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу

---

[17] Примечания: 17

Во владении ка́поров и сало́пов — то есть принадлежал старикам.

[18] Примечания: 18

Льстить — здесь: угодливо хвалить, неискренне восхищаться. При́торно — слишком любезно, слащаво до отвращения.

[19] Примечания: 19

Обыва́тели — здесь: жители данной местности.

этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землёю низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишённых тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеёй[20].

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись[21] по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, кото-

---

[20] Примечания: 20
Колея́ — здесь: привычный порядок жизни.

[21] Примечания: 21
Слоня́ться — ходить без дела.

рые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка — город их не признавал, да и их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и тёмной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нём и предпочли демократическое общество часовни.

Кроме этих выделявшихся из ряда людей около часовни ютилась ещё тёмная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть своё добро руками, подобно тому как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишённые всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались,

между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принуждён был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого; крупные черты лица были грубовыразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперёд нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчётно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную учёность, которая всем была очевидна? Не было кабака во всём городе, в котором бы пан Тыбурций, в поучение собравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона[22], целых глав из Ксенофонта[23]. Хохлы, вообще наделённые от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевлённые, хотя и непонятные речи… И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «Patres conscripti»[24], — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие

---

[22] Примечания: 22

Цицеро`н — знаменитый древнеримский государственный деятель, славившийся красноречием. Речи его считались образцом ораторского искусства.

[23] Примечания: 23

Ксенофо`нт — древнегреческий историк и полководец.

[24] Примечания: 24

Patres conscripti (*лат.*) — отцы сенаторы.

латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки[25] слушатели опускали головы, свешивали длинные «чуприны»[26] и начинали всхлипывать:

— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слёзы капали из глаз и стекали по длинным усам.

И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался весёлым хохотом, омрачённые лица хохлов вдруг прояснялись и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учёности явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда

---

[25] Примечания: 25
Гори` лка (*укр.*) — водка.

[26] Примечания: 26
Чупри` ны; чуб — длинный клок волос на темени.

дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов иезуитов[27], собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что, в то время как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трёхлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привёл с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях по-

---

[27] Примечания: 27
Иезуи́ты — католические монахи ордена Иисуса.

добные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял полубезумный старик нищий, которого прозвали «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие тёмные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

2. Я и мой отец

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек, — вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало ещё угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений своё окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестрёнка ещё не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все ещё спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шёл к пруду, где меня ждали с удочками такие же со-

рванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы[28] и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лоток»[29] и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колёса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шёл далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки[30], с головок

---

[28] Примечания: 28

Шлю́зы — подвижные ворота, устроенные на плотине для удержания или пуска воды.

[29] Примечания: 29

Лото́к — здесь: лопасть мельничного колеса.

[30] Примечания: 30

Трясу́нка — многолетнее растение (злак) с раскидистой метёлкой сплющенных колосков.

луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шёпотом ленивой дремоты.

Я успевал совершить дальний обход, и всё же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовёт меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себе[31]. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался[32] по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и,

---

[31] Примечания: 31

Робе́ть, замыка́ться — бояться, становиться скрытным и молчаливым.

[32] Примечания: 32

Озира́ться — оглядываться.

быть может, мы вместе заплакали бы — ребёнок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я её? О да, я помнил её! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте её нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил её, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил её!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверёк, забился в угол и смотрел на неё горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти.

И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу её любящую, милую ласку.

Да, я помнил её!.. Но на вопрос высокого, угрю-

мого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съёживался ещё более и тихо выдёргивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил *её*, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжёлое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась всё шире и глубже. Он всё более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с чёрствым, эгоистическим[33] сердцем, и сознание, что он *должен*, но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит этой любви в своём сердце, ещё увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, всё ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда моё сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из

[33] Примечания: 33

Эгоисти́ческий — заботящийся только о себе; человек, которому нет до других дела.

кустов на дорожку, повинуясь неопределённому побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил[34] холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочёл его в моём смущённом лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил её страстно, и она платила мне такою же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого[35] маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она

---

[34] Примечания: 34
Осади́ть — здесь: остановить.

[35] Примечания: 35
Отпе́тый — здесь: неисправимый.

всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыплёнком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а ещё через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Всё моё существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне всё казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно[36] бегать и от няньки с её перьями, и от знакомого ленивого шёпота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрёкам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал заме-

---

[36] Примечания: 36
Инстинкти́вно — неосознанно, непроизвольно.

чания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую[37] жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далёких больших городов, или в шелест колосьев, или в шёпот ветра на высоких гайдамацких[38] могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много такого, что не видели дети значительно старше меня.

Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на горе, часовню. Сначала, как пугливый зверёк, я подходил к ней с разных сторон, всё не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но, по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков

---

[37] Примечания: 37

Незате́йливый — простой, несложный.

[38] Примечания: 38

Гайдама́цких; гайдама́к — украинский казак-повстанец, участник крестьянского восстания против польских помещиков в XVIII веке.

какого-либо жилья и человеческого присутствия. Всё было как-то смиренно, тихо, заброшенно, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть её всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трёх сорванцов, привлечённых обещанием булок и яблок из нашего сада.

3. Я приобретаю новое знакомство

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом — скалил зубы человеческий череп.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зелёную мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зелёная, свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных

крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого, — сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит, — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило ещё, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землёю; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошёл ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на неё, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в её крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры[39], старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Что там такое? — с любопытством указал он на тёмный предмет, видневшийся рядом с

---

[39] Примечания: 39

Хо́ры — балкон в верхней части зала для певчих и музыкантов.

престолом[40].

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нём когда-то были угли для кадила[41].

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нём спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в её тёмных углах. Несколько воробьёв

---

[40] Примечания: 40

Престо́л — стол в алтаре, в главной части церкви.

[41] Примечания: 41

Кади́ло — металлический сосуд, в котором в православном и католическом богослужении на горящих углях воскуривается ладан — ароматическая смола.

вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой, в терновом венце[42]. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие[43].

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдёшь? — спросил он тихо.

— Подойду, — ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышались стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из тёмного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролёте и шарахнулась вон.

---

[42] Примечания: 42

Терно́вый вене́ц — венок из ветвей терновника, колючего кустарника. По древнему сказанию, такой венец римские воины надели на Иисуса перед его казнью — распятием на кресте.

[43] Примечания: 43

Гига́нтское распя́тие — огромный крест с изображением на нём распятого Иисуса Христа.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Тёмный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом.

Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать свои ощущения в эту минуту; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трёх пар детских ног. Но вскоре затих и он.

Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я

не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шёпот:

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара чёрных глаз.

— Что ж он теперь будет делать? — послышался опять шёпот.

— А вот погоди, — ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Тёмные курчавые волосы лохматились над чёрными задумчивыми глазами.

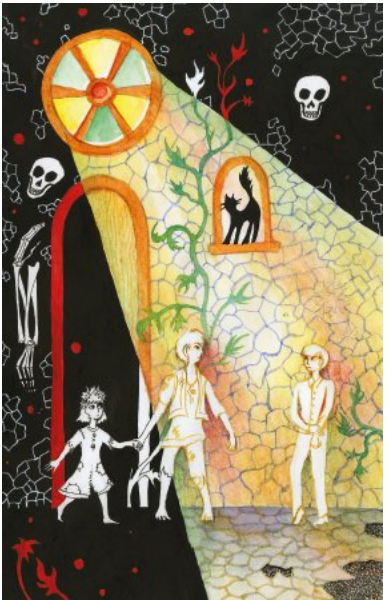
Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но всё же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился ещё

более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка[44] в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось ещё грязное личико, обрамлённое белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на моё к нему презрение.

---

[44] Примечания: 44
Люк — отверстие в полу.



Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так, — ответил я. — Тебе какое дело?

Мой противник повёл плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперёд:

— Ну, ударь… попробуй!..

Мгновение было критическое[45], от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам… тоже… — сказал я, но уже более миролюбиво.

Между тем девочка, упёршись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвёрдыми шагами к мальчишке. Подойдя вплотную, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивлённым и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твоё имя? — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

---

[45] Примечания: 45

Крити́ческое — здесь: трудное, опасное.

— Я Валек… Я тебя знаю: ты живёшь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие… Не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла своё лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится, — сказал тот и сам передал яблоко девочке. — Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад, — ответил я радушно.

Ответ этот озадачил Валека, он призадумался.

— Я тебе не компания, — сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, искренне огорчённый грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно. — Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит, — сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг

спохватился: — Послушай… Ты, кажется, славный хлопец, но всё-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдёт с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно ещё село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись

червонным золотом[46], разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь… — с грустью произнёс Валек.

— Вы все здесь живёте? — спросил я, когда мы втроём стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеёк по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул её также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную

---

[46] Примечания: 46

Черво́нное зо́лото — чистое золото, имеющее красноватый оттенок.

ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придёшь к нам опять?

— Приду, — ответил я, — непременно!..

— Что ж, — сказал в раздумье Валек, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши… все: Тыбурций, «профессор»… хотя тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка! — крикнул мне Валек, когда я отошёл несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу, — ответил я твёрдо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел чёрта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звёзды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг, — заговорил взволнованным шёпотом мой бежавший товарищ. — Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь… А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что же там было?

— Что! — ответил я тоном, не допускавшим сомнения. — Разумеется, черти… А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из чёрного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

4. Знакомство продолжается

С этих пор я весь был поглощён моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительною[47] целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И, если Тыбурций разглагольствовал[48] перед своими слушателями, а тёмные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь,

---

[47] Примечания: 47
С исключи́тельною — здесь: с единственной.

[48] Примечания: 48
Разглаго́льствовал — здесь: произносил длинную речь.

приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплёскивала ручонками, и глаза её загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в её пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки её были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил её белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слёзы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал её с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в тёмные косы ей каждый день горнич-

ная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех её звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье её было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у неё были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого, — говорили обо мне старшие, — руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвёл надо мной эту операцию. В первые же дни я внёс своё оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьёзно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил её бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил её и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой,

вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала.

Я совсем растерялся.

— Вот видишь, — сказал Валек, — она не любит играть.

Он усадил её на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лёг рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невесёлая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убеждённого человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а, — повторила девочка, точно слабое эхо, — это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из неё жизнь, — пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. — Так говорит Тыбурций… Тыбурций хорошо знает.

— Да-а, — опять повторила тихим эхом девочка. — Тыбурций всё знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валека, что Тыбурций всё знает, произвело и на меня своё действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил её Валек, и всё так же перебирала цветы; движения её тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную, грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция — хотя я и не понимал их значения — заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на её месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землёю, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений.

«Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив её где-нибудь на траве, собирали для неё цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьёв. Иногда же, растянувшись около неё на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днём всё больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чём я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец, — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит, — сказал он уже гораздо увереннее. — Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет…

— И меня любит, и тоже плачет, — прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит, — сказал я грустно. — Он никогда не целовал меня… Он нехороший.

— Неправда, неправда, — возразил Валек, — ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе… Он засудил даже одного графа…

— Да, это правда… Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валек, несколько озадаченный. — Потому что граф — не простой человек… Граф делает что хочет, и ездит в карете, и потом… у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылём, он велел принести ей стул. Вот он какой!

Всё это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моём сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да ещё от имени Тыбурция, который «всё знает», но вместе с тем дрогнула в моём сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

5. Среди «Серых камней»

Прошло ещё несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шёл с опущенною головой по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся… Ваших не видно в городе.

— А-а… Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи… А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет… Я, брат, сейчас побегу, — заторопился я, — даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего, — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. — Ступай прямо

на гору, а я тут зайду кое-куда — дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошёл тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошёл к часовне, а его всё не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, — только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черёмухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чём-то тихо шептались густо разросшеюся тёмной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стёртые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп[49]. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола

---

[49] Примечания: 49

Склеп — вырытое в земле закрытое помещение, где ставят гробы.

была вделана оконная рама со стёклами, и сквозь эти стёкла зияла тёмная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где… Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего… Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живём. Пойдём к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черёмухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня с собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под землёй. Взяв мою руку, Валек повёл меня по какому-то узкому, сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное

подземелье.

Я остановился у входа, поражённый невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на тёмном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли всё подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие, широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещённых пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не лёгкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние[50].

Под другим окном сидела с кучкой цветов,

---

[50] Примечания: 50
Изваи́ние — статуя, скульптура.

перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на её белокурую головку, заливая её всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывётся и исчезнет. Когда там, вверху, над землёй, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, а потом опять выступали жёсткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси её веселье, и чувство суеверного страха закралось в моё сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в её глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снёс «профессору». Несчастный учёный равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ёжился, чувствуя себя

как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдём… уйдём отсюда, — дёрнул я Валека. — Уведи её…

— Пойдём, Маруся, наверх, — позвал Валек сестру.

И мы втроём поднялись из подземелья. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валек. — Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лёжа врастяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо, — проговорил я затем в грустном раздумье.

— Наши все ушли… Маруся плакала, потому

что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал ещё, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за паривши в небе ястребом. А при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же, — спросил я с усилием, — почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал: ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я… у своего отца.

— Это ещё хуже! — с уверенностью сказал Валек. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы… Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз, — где же запастись на всех нищих?

— А вы разве… нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уж уходишь? — спросил Валек.

— Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась… Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лёг в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

6. На сцену является пан Тыбурций

— Здравствуй! А уж я думал — ты не придёшь более, — так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну что? Где же ваши? — спросил я. — Всё ещё не вернулись?

— Нет ещё. Чёрт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьёв, для которой я принёс с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусе, и, когда неосторожный воробей, привлечённый зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дёргала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась тёмная туча, и под весёлые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом,

подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошёл туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки, — предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлёпала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать её, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее ещё оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками.

— Это что ещё, а? — строго спрашивал он, глядя на Валека. — Вы тут, я вижу, весело проводите

время… Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я всё-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только ещё сильнее сжала мою ногу.

— Отвечай! — грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза… Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! — И при этом я сделал инстинктивное[51] движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться… Ну, да ты меня ещё не знаешь. Я — Тыбурций. Я вот пове-

---

[51] Примечания: 51
Инстинкти́вный — безотчётный.

шу тебя над огоньком и зажарю, как поросёнка.

Отчаянный вид Валека как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. — Он никогда не жарит мальчиков на огне… Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил между колен.

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней — много времени. И ты до сих пор никому ещё не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперёд. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я всё-таки чувствовал себя глубоко оскорблённым и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьёй, — не теперь, так после... Это уж, брат, так ведётся исстари[52]. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит — ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Неправда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой её

---

[52] Примечания: 52
И́сстари — с давних времён, издавна.

белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперёд не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, друг!.. Всякому своё, каждый идёт своей дорожкой, и кто знает… может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, — понимаешь?..

Я не понимал ничего, но всё же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты ещё малец… Поэтому скажу тебе кратко: если когда-нибудь придётся тебе судить вот его, то вспомни, что ещё когда вы оба были дураками и играли вместе, — что уже тогда ты шёл по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем и с пустым брюхом… Впрочем, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из

тебя копчёного окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому… я… Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю… под условием… Впрочем, я уже сказал тебе насчёт окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, — да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.



Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не шут, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам[53].

Он казался сильно уставшим. Платье его было

[53] Примечания: 53
Домоча́дцы — здесь: члены семьи.

мокро от дождя, во всей фигуре виднелось тяжёлое утомление.

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажёг лучину, и мы отправились с ним в тёмный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин[54], развели огонёк. Затем Валек уже один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса в камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трёхногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами — ты заработал свой обед… Господин учитель, — крикнул он затем, обращаясь к «профессору», — брось иголку, садись к столу!

— Сейчас, — сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье

---

[54] Примечания: 54

Ками́н — комнатная печь с широкой открытой топкой.

стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный учёный проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал всё с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал своё согласие кивками головы и тихим мычанием.

— Вот как немного нужно человеку, — говорил Тыбурций. — Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остаётся только поблагодарить бога и клеванского ксёндза…[55]

— Ага, ага! — поддакивал «профессор».

— Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чём тут клеванский ксёндз, — я ведь тебя знаю. А между тем не будь клеванского ксёндза, у нас не было бы жаркого и ещё кое-чего…

— Это вам дал клеванский ксёндз? — спросил

---

[55] Примечания: 55
Ксёндз — польский католический священник.

я, вспомнив вдруг круглое, добродушное лицо клеванского ксёндза, бывавшего у отца.

— У этого малого любознательный ум, — продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору». — Действительно, его священство дал нам всё это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что даёт правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия…

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб ещё раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли… сами?

— Малый не лишён проницательности, — продолжал Тыбурций по-прежнему. — Жаль только, что он не видел ксёндза: у него брюхо, как настоящая сороковая бочка[56], и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним… Так ли я говорю?

— Ага, ага! — задумчиво промычал опять «про-

[56] Примечания: 56

Сорокова́я бочка — бочка, вмещающая сорок вёдер, очень большая; здесь: образное сравнение.

фессор».

— Ну вот! На этот раз вы выразили своё мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых учёных… Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты всё-таки ещё глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принёс тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. — Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, ещё усилилось. Нищие… воры… у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате — сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что «нехорошо воровать», осталось. Но, когда воображение рисовало мне оживлённое личико моей

приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался её радостью и радостью Валека.

В тёмной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он, по обыкновению, угрюмо ходил взад и вперёд с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо:

— Откуда это?

— Я… гулял…

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

«А, всё равно. *Её* уж нет!..»

Я солгал чуть ли не в первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений[57]. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чём-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моём знакомстве с «дурным обществом», но изменить Валеку и Марусе я был не

[57] Примечания: 57

Целый мир смутных вопросов и ощущений — здесь: очень много неясных вопросов и чувств.

в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

7. Осенью

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только всё худела; лицо её всё бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Тёмные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий юнкер[58] с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор», как всегда, был погружён в какие-то глубокие соображения.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье.

Осень всё больше вступала в свои права. Небо всё чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шум-

---

[58] Примечания: 58

Ю́нкер — в царской России воспитанник военного училища.

но лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях. Мне стоило много труда урываться[59] из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упрёков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся всё больше хиреет[60]. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — тёмное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали[61] все усилия, чтобы развлечь её и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы её слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала

---

[59] Примечания: 59
Урыва́ ться — здесь: уходить ненадолго.

[60] Примечания: 60
Хире́ ть — болеть, ослабевать, чахнуть.

[61] Примечания: 61
Истоща́ли — испробовали, израсходовали.

мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен — я чувствовал, что каждый раз моё появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землёй, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках её загорался румянец, казалось, что ветер, обдававший её своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья, но это продолжалось недолго…

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка.

Старик подобострастно[62] кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперёд и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая, точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову… Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать… Молчать! Это уж моё дело… Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце моё дрогнуло предчувствием[63]. Я понял, что подслушанный мною разговор

---

[62] Примечания: 62
Подобостра́стие — лесть, угодничество.

[63] Примечания: 63
Предчу́вствие — ожидание чего-то неизвестного.

относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена!

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце; он знает много… Быть может, он уже знает всё, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого, беззубого зверя в его последней берлоге… Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдёт оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба, или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает своё сердце на ключ, и тогда у судьи такие твёрдые лапы, что скорее мир повернётся в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук… Понимаешь ты, малый?.. Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то, давно уже, некоторое столкновение… то есть, понимаешь, неожиданная ссора… ах,

малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать её, прижимаясь своею безобразной головой к её маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении, под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые[64] и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моём представлении ещё выросла, облеклась ореолом[65] грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство…

«Вот он какой, — думалось мне. — Но всё же он меня не любит».

---

[64] Примечания: 64
Причудливые обороты — здесь: необычные, малопонятные фразы.

[65] Примечания: 65
Ореóл — здесь: слава, сияние.

8. Кукла

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять её она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали её смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне её на время. Я так убедительно просил её об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне её и обещала в течение двухтрёх дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой[66] ба-

---

[66] Примечания: 66
Фаи́нс — особые сорта белой и цветной глины.

рышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой… Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлёпая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нёс её за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять её, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернётся, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа.

Отец ничего ещё не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан — на этот раз с ещё большим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел

остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец ещё спал.

На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало ещё хуже; лицо её горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная[67] кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости её недолгой жизни.

---

[67] Примечания: 67

Злополу́чная — несчастная, явившаяся причиной неприятностей.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто ещё не наказывал; отец не только

не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжёлое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошёл и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своём кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжёлый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчётливо и резко, что я вздрогнул.

— Да, — ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл её?

— Нет, — сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл её и снёс!.. Кому ты снёс её?.. Говори!

Он быстро подошёл ко мне и положил мне на

плечо тяжёлую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съёжился.

— Ну, что же ты?.. Говори! — И рука, державшая моё плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу! — ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу, — прошептал я ещё тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и всё ниже опускал голову; слёзы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я всё повторял едва слышно:

— Нет, не скажу… никогда, никогда не скажу вам… Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознанное оскорблённое чувство покинутого ребёнка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевёл дух. Я съёжился ещё бо-

лее, горькие слёзы жгли мои щёки. Я ждал.

Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого… Даже в эту страшную минуту я любил отца и вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьёт мою любовь вдребезги. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась… Если так… пусть… тем лучше — да, тем лучше.

Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. Мой бедный маленький друг…

«Тыбурций пришёл!» — промелькнуло у меня в голове, но, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моём плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду

оглядел нас обоих своими острыми, рысьими глазами.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении…

Отец встретил его мрачным и удивлённым взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьёзен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко. — Вы человек справедливый… отпустите ребёнка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая моё плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика, — повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьётесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам всё, что вы желаете знать… Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, всё время смотревший на Тыбурция удив-

лёнными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими моё сердце. В эту минуту я ни в чём не отдавал себе отчёта. Был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь — так сильно, что это сердце замутилось. Этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да ещё были два голоса, смутным, хотя и оживлённым говором звучавшие за дверью…

Я всё ещё стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии отца, к себе на колени.

— Приходи к нам, — сказал он, — отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она… она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушёл из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашёл что-то родное, чего

тщетно[68] искал в нём прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжёлый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл… Соня сама дала мне на время…

— Д-да, — ответил он задумчиво, — я знаю… Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал её целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в моё сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да… Ступай, ступай, мальчик, попрощай-

---

[68] Примечания: 68
Тщéтно — напрасно.

ся, — ласково проговорил он всё ещё с тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой… пожалуйста, мальчик, погоди немного.

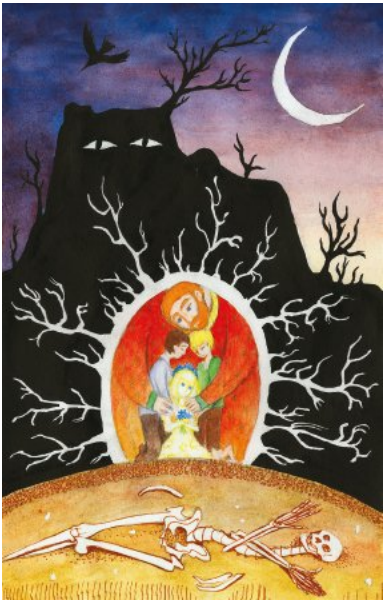
Он ушёл в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это… Тыбурцию… Скажи, что я покорнейше прошу его — понимаешь?.. покорнейше прошу — взять эти деньги… от тебя… Ты понял?.. Да ещё скажи, — добавил отец, как будто колеблясь, — скажи, что если он знает одного тут… Фёдоровича, то пусть скажет, что этому Фёдоровичу лучше уйти из нашего города… Теперь ступай, мальчик, ступай скорее…

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит… отец… — И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Фёдоровича.



В подземелье, в тёмном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет ещё полного значения для детского слуха, и горькие слёзы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьёзная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и ещё резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали.

Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слёзы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

Заключение

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны.

Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у неё провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала ещё мрачнее; ещё громче завывают в ней филины, а огни на могилах тёмными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дёрном, пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей берёзы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий

родной город, здесь же, в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

Слепой музыкант

Глава первая

I

Ребёнок родился в богатой семье Юго-Западного края в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытьи, но, когда в комнате раздался первый крик новорождённого, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Её губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими ещё чертами появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребёнка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к её что-то тихо шептавшим губам.

— Отчего… отчего это он? — спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребёнок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

— Отчего, отчего? — по-прежнему тихо шептали её губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно

ответила:

— Вы спрашиваете, отчего ребёнок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребёнка и всё повторяла с гневным нетерпением:

— Отчего… так… так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребёнка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытьи и, вероятно, просто бредит, оставила её и занялась ребёнком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжёлое страдание, которое не могло прорваться наружу движениями или словами, выдавливало из её глаз крупные слёзы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам. Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорождённым ребёнком явилось на свет тёмное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребёнок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределённым взглядом, каким глядят до известного возраста все новорождённые дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с весёлым щебетаньем птиц и с шелестом зелёных буков, которые покачивались у самых окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьёзным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

— Скажите же мне, отчего он такой?

— Какой? — равнодушно переспрашивали посторонние. — Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

— Посмотрите, как странно ищет он что-то руками…

— Дитя не может ещё координировать движе-

ний рук с зрительными впечатлениями, — ответил доктор.

— Отчего же он смотрит всё в одном направлении?.. Он… он слеп? — вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог её успокоить.

Доктор взял ребёнка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребёнка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели всё тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп[69]. Он зажёг свечку, приближал и удалял её от детского глаза, заглядывал в него и, наконец, сказал с смущённым видом:

— К сожалению, сударыня, вы не ошиблись… Мальчик действительно слеп, и притом безнадёжно…

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

---

[69] Примечания: 69

Офтальмоско́п — зеркало для исследования глазного дна.

— Я знала давно, — сказала она тихо.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло ещё из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-Западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти всё его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определённые часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» — после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях

его имения, но даже в Киеве «на Контрактах»[70]. Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урождённой Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смирный из «шляхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику — Гарибальди[71], который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чёртом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую[72] душу, зато «Контракты» проходили с меньшими скандалами, и многие благородные мамаши перестали

---

[70] Примечания: 70

«Контра́кты» — местное название некогда славной киевской ярмарки.

[71] Примечания: 71

Гарибальди Джузеппе (1807–1882) — руководитель национально-освободительного движения в Италии.

[72] Примечания: 72

Схизмати́ческий — еретический, отступнический.

беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в *Курьерке*, исстари любимой газете панов помещиков, упоминалось в реляциях[73] его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же *Курьерка* паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъярённые австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался ещё Гарибальди), изрубили его, как капусту.

— Плохо кончил Максим, — сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры,

---

[73] Примечания: 73

Реля́ция — письменное донесение о ходе военных действий.

где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьёзнее, угомонился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на «Контракты», редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожные. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в *Курьерке*, то никто не придавал им серьёзного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки, — всё это пугало посторонних, и только близкие к инва-

лиду люди знали, что в изрубленном теле бьётся горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неугомонная мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окружённый синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом и угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь — борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат[74]; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против*, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба

---

[74] Примечания: 74
Фурштáт — от *нем.* Furshtat — военный обоз.

судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребёнка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственною заинтересовало дядю Максима.

— Гм… да, — задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку, — этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечишко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребёнке всё чаще и чаще.

IV

Ребёнок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастия скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжёлого будущего, которое ожидало её ребёнка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастия лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь… Этого было достаточно,

чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось всё в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастием и в котором всё окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он всё так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он всё усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

— Этот малый, — сказал он, пуская кольцо за кольцом, — будет ещё гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и

слеза упала на её работу.

— Жестоко напоминать мне об этом, Макс, — сказала она тихо, — напоминать без цели…

— Я говорю только правду, — ответил Максим. — У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли…

— Отчего же?

— Пойми меня, Анна, — сказал Максим мягче. — Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нём все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее её кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребёнка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку, и, с какою-то необычною в других детях живостью, ощупывал всякий предмет, по-

падавший в руки.

V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то ещё, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он всё же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряжённое внимание; он как будто «вглядывался» кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребёнком, но месяцы шли за месяцами, и слепота всё более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по

целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребёнок, казалось, думал о чём-то с недоумелым и удивлённым выражением на красивом и не по-детски серьёзном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала своё и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов; когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться всё более и более, что развитие восприимчивости идёт главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шоркание нитки в руках матери, ровное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он

чутко прислушивался к лёгкому, не слышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого являлось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчёта в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха, — изощрённый слух улавливал в воздухе тонкий звон её крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучавший вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперёд на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и

вместе с тем здоровье мальчика, который зимой всё прихварывал и потому всю её провёл в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые ещё ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленью молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновлённой и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня лёгкими ударами по стёклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с

далёкой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к её груди.

— Что это с ним? — спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

— Он… не может понять, — догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребёнок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила всё больше и больше в свою колею, жизнь как будто

напрягалась, её поступательный ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах берёзовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шёл дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далёкое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя её свежею прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.

Мать почувствовала, что в её руке крепко сжалась маленькая ручка ребёнка, но опьяняющее веяние весны сделало её менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полною грудью и шла вперёд, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением.

Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нём какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоумелого вопроса. Только одни глаза глядели всё тем же ровным и неподвижным, незрячим взглядом.

Дойдя до холмика, они уселись на нём все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за её платье; казалось, он боялся, что упадёт куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что её глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на её поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На

поёмных[75] лугах стояла вода широкими лиманами[76]; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра лёгкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от неё к небу, как клубы жертвенного фимиама[77].

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон не изведанными ещё, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

---

[75] Примечания: 75

Поёмный — затопляемый водой при разливе, пойменный

[76] Примечания: 76

Лима́н — затопленное водами моря расширенное устье реки, превратившееся в залив, иногда отделённое от моря широкой косой.

[77] Примечания: 77

Фимиа́м — благовонное вещество для курения.



С первых же шагов, когда лучи тёплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет всё окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и тёплое касается его лица нежным, согревающим

прикосновением. Потом кто-то прохладный и лёгкий, хотя и менее лёгкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нём ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Тёплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее всё его существо, он всё же стал было различать отдельные звуки. Тёмные ласковые волны неслись по-прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель

жаворонка, то тихий шелест распустившейся берёзки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела лёгким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективу. Они как будто падали, проникая в тёмную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились, одновременно неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию[78]. А ветер с поля всё свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того, как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подёргивалось ритмически пробегавшими по нём переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались,

[78] Примечания: 78

Дисгармо́ния — нарушение гармонии, отсутствие созвучности, неблагозвучие.

и во всех чертах пробивался вопрос, тяжёлое усилие мысли и воображения. Не окрепшее ещё и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать; оно ещё боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам тёмному мозгу ребёнка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим всё ещё слишком пёстрые, слишком звонкие… Охватившие мальчика волны вздымались всё напряжённее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками… быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали… Ещё раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем всё сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.

VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычною своей энергией занялся изучением всего, что даёт наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его всё больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о «фурштате» давно уже незаметно улетучились из квадратной головы ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался всё более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотой и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового

рекрута[79], на которого без его влияния никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает, — думал старый гарибальдиец, — ведь бороться можно не только копьём и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятых годов не было чуждо суеверное представление о «таинственных предначертаниях» природы. Немудрено поэтому, что, по мере развития ребёнка, выказывавшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих «таинственных предначертаний». «Обездоленный за обиженных» — вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени своего питомца.

IX

После первой весенней прогулки мальчик

---

[79] Примечания: 79

Ре́крут — лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности.

пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во всё это время с его лица не сходило характерное выражение недоумения.

— Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может, — говорила молодая мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений, с которыми не могло справиться сознание, и решился допускать к выздоравливавшему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчленёнными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

— Рожок пастуха слышен за лесом, — говорила она. — А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на сво-

ём колесе[80]. Он прилетел на днях из далёких краёв и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней своё лицо, светившееся благодарностью, брал её руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

X

Он начинал расспрашивать обо всём, что привлекало его внимание, и мать или, ещё чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, издававших те или другие звуки. Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребёнку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже лёгкие морщинки. Видимо, детская головка работала над непосильною задачей, тёмное воображение билось, стремясь

[80] Примечания: 80

В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колёса, на которых птица завивает гнездо.

создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и, когда на глазах матери являлись слёзы, а лицо ребёнка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстранял сестру и начинал свои рассказы, в которых, по возможности, прибегал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

— Ну, а какой он? Большой? — спрашивал он про аиста, отбивавшего на своём столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах, а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

— Нет, он ещё гораздо больше. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

— Большой… — задумчиво произнёс мальчик. — А малиновка — вот! — И он чуть-чуть развёл сложенные вместе ладони.

— Да, малиновка такая… Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие.

Малиновка старается, чтобы всем было приятно её слушать. А аист — серьёзная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том, что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжёлых попытках понять рассказы матери. Но всё же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

Глава вторая

I

Тёмная голова ребёнка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изощрённого слуха он проникал всё дальше в окружавшую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непроницаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжёлою тучей, и хотя он залёг над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастием, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от тёмной завесы. Эти, не оставлявшие ребёнка ни на минуту бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на его лице всё глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая и могучая природа

не оставалась для слепого совершенно закрытою. Так, однажды, когда его свели на высокий утёс над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшиеся из-под ноги его камни. С тех пор он представлял себе глубину в виде тихого ропота воды у подножья утёса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замиравшею песней; когда же по небу гулко перекатывался весенний гром, заполняя собой пространство и с сердитым рокотом теряясь за тучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и сердце его расширялось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления, как в формы.

По временам, в жаркий полдень, когда вокруг всё смолкало, когда затихало людское движение и в природе устанавливалась та особенная ти-

шина, под которой чуется только непрерывный, бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влиянием внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряжённым вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни.

II

Ему шёл уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребёнок с задумчивыми и глядевшими в неопределённую даль глазами. Но уже по двору он ходил с большим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец, по обыкновению, захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не видел, как темнело синее небо, как чёрные верхушки деревьев качались, рисуясь на звёздной лазури, как хмурились лохматые «стрехи»[81] стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звёздного света. Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчёта.

Когда дремота всё гуще застилала его сознание, когда смутный шелест буков совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щёлканье соловья за рекой,

---

[81] Примечания: 81
«Стре́хи» — крыши.

и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребёнку, — когда все отдельные звуки стушёвывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, навевая неопределённые, но удивительно приятные грёзы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

— Что это было… вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чём дело, и думала, что ребёнка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чём-то приятно тревожившем его с вечера.

— Так хорошо, мам, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решилась остаться у постели ребёнка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

— Мама, ты здесь?

— Да, да, мой мальчик…

— Уйди, пожалуйста, *оно* боится тебя, и до сих пор его нет. Я уже совсем было заснул, а этого всё нет…

Удивлённая мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный, жалобный шёпот… Ребёнок говорил о своих сонных грёзах с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевным напевам малорусской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в тёмную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим, — подумала она. — Странно, сколько тонкого чувства в этом грубова-

том на вид «хлопе»[82].

IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему нипочём была даже и хитрая скрипка, и было время, когда в корчме, по воскресеньям, никто лучше не мог сыграть «казака» или весёлого польского «краковяка». Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую[83] шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени. Его неуклюжий «струмент», казалось, надрывается от усилий, чтобы поспеть своими тяжёлыми басовыми нотами за лёгкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подёргивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал

---

[82] Примечания: 82

Хлоп — то же, что и холоп.

[83] Примечания: 83

Сму́шковый — сделанный из смушек, шкурок, снятых с новорождённого ягнёнка.

в такт шаловливой и бойкой мелодии. Что же говорить о крещёном народе, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках весёлого плясового напева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор как Иохиму полюбилась Марья, дворовая девка соседнего пана, он что-то не залюбил весёлую скрипку. Правда, что скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки, и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой «пыке»[84] хохла-музыканта. С тех пор его скрипки не слыхали более в корчме и на вечерницах. Он повесил её на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения на любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржали и удивлённо поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что её тихие, задушевные переливы больше соответствуют его горькой

---

[84] Примечания: 84

Пы́ка — по-малорусски ироническое название лица, физиономии.

судьбе, лучше выразят печаль его отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечёвочке под крышей, чтобы её обдувало ветром, но ничто не помогало: горская дудка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела там, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от неё томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, и затем решился сделать её своими руками. В течение нескольких дней он бродил с насупленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кустику ивы, перебирал её ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, всё не находил того, что ему было нужно. Его брови были по-прежнему угрюмо сдвинуты, и он шёл дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место, над лениво струившеюся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой заводи белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к тёмной, спокойной глубине. Ио-

хим, раздвинув кусты, подошёл к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдёт то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво шептавшиеся кусты ивняка, решительно подошёл к тонкому, прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щёлкнул по нём пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шёпоту его листьев и мотнул головой.

— Ото ж воно самесенькое, — пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжег ей сердце раскалённою проволокой, прожёг шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянною затычкой, оставив в ней косую узенькую щёлку. Затем она целую неделю висела на бечёвке, причём её грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал её ножом, почистил стеклом и крепко обтёр куском грубого сукна. Верхушка у неё была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные

грани, по которым он выжег с помощью изогнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав её несколькими быстрыми переливами гаммы, он взволнованно мотнул головой, крякнул и торопливо спрятал в укромное местечко около своей постели. Он не хотел делать первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была частью его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с неё и звучно нёсся вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.

V

Теперь Иохим был влюблён в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днём он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с «паней» или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начинала сосать его

сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всём мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определённость, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида собственное своё существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала лёгкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услышал возле себя чьё-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

— Цур тобі, пек тобі! — произнёс он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: — Чёртове чи боже? — желая узнать, не имеет ли он дела с нечистою силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся

к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петруся, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пропавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда, остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни «милостивую пани». Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и всё ещё жадно прислушивался к оборванной песне.

VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днём. Казалось, дневная суета и движение исключали в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихорадочное нетерпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, всё же не могла запретить

своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучей ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребёнком даже в течение следующего дня, что даже на её ласки он не отвечает с прежнею безраздельностью, что, сидя у неё на руках и обнимая её, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Радецкой, она, между прочими «приятными искусствами», изучала также и музыку. Правда, само по себе это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Клапс, очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно «выламывавшая» пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомцах всякие признаки чувства музыкальной поэзии. Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Клапс, не говоря об её педагогических приёмах. Поэтому, выйдя из пансиона и даже замужем, Анна Михайловна и не

подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла-дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в её душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, а образ немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

— Как хочешь, моя голубка, — ответил образцовый супруг. — Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезён из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трёх недель.

А между тем из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решётки клочьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шёпот зелёных буков из сада. Петрик сидел, как очарованный,

и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какою-то странною жадностью. Он тянулся за дудкой, брал её дрожащими руками и прикладывал к губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немудрёным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но всё же он скоро свыкся с звуками гаммы. При этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер; он знал уже, в каком отверстии живёт каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика тоже начинали шевелиться. Он с полною ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

VII

Наконец, ровно через три недели, из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную «музыку». Она была, очевидно, очень тяжёлая, так как, когда её стали подымать, телега трещала, а люди кряхтели и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными, тяжёлыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Всё это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевлённого, но вместе сердитого гостя. Он ушёл в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проволочные струны. Только когда всё было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенскою

дудкой. Она была уверена, что её Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от неё. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла её с сознательным расчётом на другую победу: она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлечённого хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз её ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал её своим ножом и выжег ей сердце раскалённым железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, её ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал её украинский ветер, пока зоркий глаз украинца-дударя подметил её над размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, её тонкие пальцы были и быстрее, и гибче; мелодия, которую она играла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс,

чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и грустил и с любовью своей и с тоской обращался к родной природе. Его учила несложным напевам эта природа, шум её леса, тихий шёпот степной травы, задумчивая, родная, старинная песня, которую он слышал ещё над своею детскою колыбелью. Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылём. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону, она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для неё день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стукая по полу гостиной своими неуклюжими «чоботьями»[85].

VIII

Много слёз стоила бедной матери эта неудача — слёз и стыда. Ей, «милостивой пани» Попельской,

---

[85] Примечания: 85
Чóбот — сапог, башмак.

слышавшей гром рукоплесканий «избранной публики», сознавать себя так жестоко поражённой, и кем же? — простым конюхом Иохимом с его глупою свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после её неудачного концерта, краска гнева заливала её лицо, и она искренно ненавидела «противного хлопа».

И, однако, каждый вечер, когда её мальчик убегал в конюшню, она открывала окно, облокачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом «глупом чириканье»; но мало-помалу — она и сама не отдавала себе отчёта, как это могло случиться, — глупое чириканье стало овладевать её вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы. Спохватившись, она задала себе вопрос, в чём же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределённые вечерние тени и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

«Да, — думала она про себя, побеждённая и завоёванная в свою очередь, — тут есть какое-то совсем особенное, истинное чувство… чарующая

поэзия, которую не выучишь по нотам».

И это была правда. Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей и вечно говорящею человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство природы.

И она сознавала, что гордая «пани» смиряется в ней перед конюхом-хлопом. Она забывала его грубую одежду и запах дёгтя, и сквозь тихие переливы песни вспоминалось ей добродушное лицо, с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористическою улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять приливала к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания её ребёнка она стала с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, «хлоп», победил.

А деревья в саду шептались у неё над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой, и вместе с тем в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она всё больше смирялась и всё больше училась постигать нехитрую тайну

непосредственной и чистой, безыскусственной поэзии.

IX

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у неё? Неужели у неё нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьётся в ней сердце и слёзы поневоле подступают к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к её обездоленному, слепому ребёнку, который убегает от неё к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное её игрой, на лице мальчика, и жгучие слёзы лились у неё из глаз, и по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота её ребёнка стала и её вечным, неизлечимым недугом. Он сказался и в болезненно преувеличенной нежности, и в этом всю её поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн её изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только досаду, — это странное соперничество с

хохлом-дударём, — стало для неё источником сильнейших, преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало её в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструменту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало её от этих попыток. Ей вспоминалось лицо её страдающего мальчика и пренебрежительный взгляд хохла, и щёки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью…

Тем не менее изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней всё возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна; руки не повиновались её внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми

овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроение переливалось в них с большею полнотой и лёгкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что именно захватывало так сильно сердце ребёнка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки. Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудрёные «пьесы», а тихая песня, грустная украинская думка звенела и плакала в тёмных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и вот по вечерам между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затенённого сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано.

Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на «хитрую» музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови и нетерпеливо понукал Иохима, когда тот останавливался.

— Э! Играй же, играй!

Но не прошло и трёх дней, как эти остановки стали всё чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал понукать приятеля. Наконец Иохим произнёс с задумчивым видом:

— Ото ж як гарно… Бач, яка воно штука…

И затем, с тем же задумчиво-рассеянным видом прислушивающегося человека, он взял мальчика на руки и пошёл с ним через сад к открытому окну гостиной.

Он думал, что «милостивая пани» играет для собственного своего удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла её соперница-дудка, видела свою победу, и её сердце билось от радости.

Вместе с тем её гневное чувство к Иохиму улеглось окончательно. Она была счастлива и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил её, как опять привлечь к себе ребёнка, и если теперь её мальчик получит от неё целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю,

их общему учителю.

X

Лёд был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошёл в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость, показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошёл к тому месту, где стояло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела с работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждою сменою выражения на нервном лице ребёнка.

Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошёл поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем, с выражением полного внимания, тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они, один за другим, колыхаясь, дрожали и замирали в воздухе. Лицо слепого, вместе с напряжённым вниманием, выражало удовольствие; он, видимо, любовался каждым отдельным тоном, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал ещё какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала весёлая и яркая нота высокого регистра, он подымал оживлённое лицо, будто провожая кверху эту звонкую летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо; ему казалось, что этот тяжёлый тон должен непременно низко раскатиться над землёю, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, определяло отчасти возможное для него будущее. С другой — к этому сознанию примешивалось в сердце старого солдата неопределённое чувство разочарования.

«Конечно, — рассуждал Максим, — музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь, будет им разыгрывать разные там… вальсы и ноктюрны[86] (правду сказать, дальше этих «вальсов» и «ноктюрнов» не шли музыкальные познания Максима), а они будут утирать слёзы платочками. Эх, чёрт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Только всё же лучше

---

[86] Примечания: 86

Ноктю́рн — небольшое лирическое музыкальное произведение.

бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределённо разнеживающемуся слуху. Она даёт образы, будит мысль в голове и мужество в сердце».

— Эй, Иохим, — сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму. — Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты всё же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего телёнка. Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею[87] раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нём чувство лёгкой обиды.

— Не скажите, пане, — заговорил он. — Такую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украине, не то что у подпаска… То всё свистелки, а это… вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

---

[87] Примечания: 87
Рацéя — назидательное рассуждение, наставление.

— Тьфу, прости боже! совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одинаковые — и дудки, и бабы, с твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь, — хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то необидно, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

— А что ж? — ответил Иохим на предложение пана. — Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придётся, пане? — уязвил он слегка собеседника.

— Ну, не бреши по-пустому, — сказал Максим. — Песня хорошая — не дудке чета, если только человек умеет петь как следует. Вот послушаем, Петрусю, Иохимову песню. Поймёшь ли ты только, малый?

— А это будет «хлопская» песня? — спросил мальчик. — Я понимаю «по-хлопски».

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о новой сечи[88].

— Эх, малый! Это не хлопские песни… Это песни

---

[88] Примечания: 88

Сечь — военная организация запорожского казачества на Украине в XVI–XVIII веках.

сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру и по Дунаю, и на Чёрном море… Ну, да ты поймёшь это когда-нибудь, а теперь, — прибавил он задумчиво, — боюсь я другого…

Действительно, Максим боялся другого непонимания. Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что тёмная голова ребёнка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны[89], что украинские кобзари и бандуристы[90] были по большей части слепые! Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяния. Но не все же это были только нищие и ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застилает видимый мир тёмною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но всё же из наследственных представлений и из впечатле-

---

[89] Примечания: 89

Баян — народный певец.

[90] Примечания: 90

Кобзари́ и бандури` сты — украинские певцы, аккомпанирующие себе на кобзе и бандуре.

ний, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишённый своеобразной, смутной поэзии.

XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилёг на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, запел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался очень удачным. Он остановился на исторической картине:

Он, там на горі, тай жёнці жнуть.

Всякому, кто слышал эту прекрасную народную песню в надлежащем исполнении, наверное, врезался в памяти её старинный мотив, высокий, протяжный, будто подёрнутый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание казака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках[91] по синему морю и Дунаю. Это только одна мимолётная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца, как смутная грёза,

---

[91] Примечания: 91
Ча́йка — небольшое судно у запорожцев.

как отрывок из сна об историческом прошлом. Среди будничного и серого настоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подёрнутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но ещё не бесследно! О ней говорят ещё высокие могилы-курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжёлые стоны. О ней говорит и народное предание, и смолкающая всё более и более народная песня:

Ой, там на горі, тай жёнці жнуть,
А по-під горою, по-під зеленою
Козаки ідуть!..
Козаки ідуть!..

На зелёной горе жнецы жнут хлеб. А под горой, внизу, идёт казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещённая меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с ве-

черними тенями долины.

По переду Дорошенко
Веде своё військо, військо запорожське
Хорошенько.

И протяжная нота песни о прошлом колышется, звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака всё новые и новые фигуры.

XIII

Мальчик слушал с омрачённым и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утёса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину…

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко,

как сосны, шум которых он слышал, стоя под утёсом. А внизу, над рекой, раздаётся частый ровный топот конских копыт… Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это «идут казаки».

Он знает также, что значит казак. Старика «Хведька», который заходит по временам в усадьбу, все зовут «старым казаком». Он не раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожащею рукой. Когда же мальчик по своему обыкновению ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубокие морщины, большие обвисшие вниз усы, впалые щёки и на щеках старческие слёзы. Таких же казаков представлял себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу, под горой. Они сидят на лошадях такие же, как «Хведько», усатые, такие же сгорбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как «Хведько», о чём-то плачут, быть может, оттого, что и над горой, и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни — песни о «необачном[92] казачине», что променял молодую жёнку на походную трубку и на

[92] Примечания: 92
Необа́чный (*укр.*) — беспечный.

боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

Глава третья

I

Благодаря режиму, который был заведён по плану Максима, слепой во всём, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно, Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку. Мать сначала не могла себе представить, чтоб её слепой ребёнок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело всё своё влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Иохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом, слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние её на нравственный склад ребёнка было по возмож-

ности ослаблено. Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Чёрные волосы оттеняли ещё более белизну лица, а большие тёмные, малоподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Лёгкая складка над бровями, привычка несколько подаваться головой вперёд и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу, — это всё, чем сказалась слепота в его наружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но всё же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими нервными порывами.

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запоминал песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он ещё внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с

привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нём они оба. Он быстро заучивал всё, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и её переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчёта, ветер ли навевает издалека смутные думы или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с историей его страны, и вся она прошла перед воображением слепого, сплетённая из звуков. Заинтересованный песней, он знакомился с её героями, с их судьбой, с судьбой своей родины. Отсюда начался интерес к литературе, и на девятом году Максим приступил к первым урокам. Умелые уроки Максима

(которому пришлось изучить для этого специальные приёмы обучения слепых) очень нравились мальчику. Они вносили в его настроение новый элемент — определённость и ясность, уравновешивавшие смутные ощущения музыки.

Таким образом, день мальчика был заполнен, нельзя было пожаловаться на скудость получаемых им впечатлений. Казалось, он жил полною жизнью, насколько это возможно для ребёнка. Казалось также, что он не сознаёт и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская грусть всё-таки сквозила в его характере. Максим приписывал это недостатку детского общества и старался пополнить этот недостаток.

Деревенские мальчики, которых приглашали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме непривычной обстановки, их немало смущала также и слепота «панича». Они пугливо посматривали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешёптывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к весёлой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя

в кучу и начинал рассказывать им весёлые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чёртом, и с плутовками-ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживлённо. Слепой слушал их с большим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и немудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подёргивания длинными усами.

III

Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменился «посессор»[93]. На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то, что обоим

---

[93] Примечания: 93

В Юго-Западном крае довольно развита система арендований имений: арендатор (по-местному «посессор») является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода.

супругам в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве «экономa» по чужим людям, а пани Агнешка, в ожидании счастливой минуты, жила в качестве почётной «покоювки»[94] у графини Потоцкой. Когда, наконец, счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костёле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые, а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой поздней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчику. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нём тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжёлой жизни «в чужих людях». Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом

---

[94] Примечания: 94
Покоювка (*польск.*) — горничная.

месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской, вместе с вербой и «громницей»[95], хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом маленьком домике, об его тишине и порядке и о двух стариках, живших в нём какою-то необычною в наши дни тихою жизнью.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка, с длинною русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве какою-то странною солидностью, разлитою во всей её фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но всё это делалось с такою ис-

[95] Примечания: 95

Гро́мницей называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающим.

креннею снисходительностью, как будто для неё лично это было вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и всё это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребёнок, а крохотная взрослая женщина.

IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягчённое расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то лёгкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

— Мальчик! — услышал он вдруг возглас детского голоса. — Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

— Это я…

Лёгкий удивлённый возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

— Как хорошо!

Слепой промолчал.

— Что же вы не уходите? — спросил он затем, слыша, что непрошеная собеседница продолжает стоять на месте.

— Зачем же ты меня гонишь? — спросила девочка своим чистым и простодушно-удивлённым голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее он ответил в прежнем тоне:

— Я не люблю, когда ко мне приходят…

Девочка засмеялась.

— Вот ещё!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

— Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

— Мама? — переспросила задумчиво девочка. — А моя мама позволила мне ходить над рекой…

Мальчик, несколько избалованный всеобщею

уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервною волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбуждённо:

— Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

— Ах, какой гадкий мальчик! — услышал он за собой искренно негодующее замечание.

V

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда ещё не слыхал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернётся.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвёртый Петрусь услышал её шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо;

береговая галька легко шуршала под её ногами, и она напевала вполголоса польскую песенку.

— Послушайте! — окликнул он, когда она с ним поравнялась. — Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под её ногами.

В деланой беззаботности её голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась ещё не забытая обида.

Однако пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

— Разве вы не видите, что это я? — спросила она наконец с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, всё стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

— Кто тебя выучил так хорошо играть на дуд-

ке?

— Иохим выучил, — ответил Петрусь.

— Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

— Я… не сержусь на вас, — оказал мальчик тихо.

— Ну так и я не сержусь… Давай играть вместе.

— Я не умею играть с вами, — ответил он потупившись.

— Не умеешь играть?.. Почему?

— Так.

— Нет, почему же?

— Так, — ответил он чуть слышно и ещё более потупился.

Ему не приходилось ещё никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нём опять тупою болью.

Незнакомка поднялась на холмик.

— Какой ты смешной, — заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. — Это ты, верно, оттого, что ещё со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник

груду цветов.

— Где вы взяли цветы? — спросил он.

— Там, — мотнула она головой, указывая назад.

— На лугу?

— Нет, там.

— Значит, в роще. А какие это цветы?

— Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный… право, ты очень странный…

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

— Это лютик, — сказал он, — а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать её волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Всё это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, поражённая удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице её нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряжённого внимания,

как-то не гармонировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Всё это показалось девочке на одну минуту просто тяжёлым кошмаром.

Высвободив своё плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

— Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила она гневно, сквозь слёзы. — Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство — смесь досады и унижения — наполнило болью его сердце. В первый раз ещё пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчёта в угнетавшем его тяжёлом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился всё сильнее, судорожные рыдания потрясали всё его маленькое тело, тем более что какая-то врождённая гордость заставляла его

подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбежала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что её новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

— Послушай, — заговорила она тихо, — о чём ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике ещё большую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкою настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребёнка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

— Ну, ну, перестань же! — заговорила она тоном взрослой женщины. — Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня…

— Я не хотел напугать тебя, — ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

— Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь. — Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещённое красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика ещё стояли слёзы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передёргивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжёлое горе.

— А всё-таки ты очень странный, — сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный, — ответил мальчик с жалобною гримасой. — Нет, я не странный… Я… я — слепой!

— Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос её дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесённое мальчиком, нанесло неизгладимый удар в её маленькое женственное сердце. — Слепо-ой? — повторила она ещё более дрогнувшим голосом, и, как будто ища защиты от охватившего всю её неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Поражённая внезапностью печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись

вдруг в огорчённого и беспомощного в своём огорчении ребёнка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала.

VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам ещё всхлипывала, перемогаясь. Полными слёз глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскалённой атмосфере заката, погружалось за тёмную черту горизонта. Мелькнул ещё раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и тёмные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватою чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого, он сидел с опущенною головой, видимо удивлённый этим выражением горячего сочувствия.

— Мне жалко… — всё ещё всхлипывая, вымолвила наконец девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

— Солнышко село, — произнесла она задумчиво.

— Я не знаю, какое оно, — был печальный ответ. — Я его только… чувствую…

— Не знаешь солнышка?

— Да.

— А… а свою маму… тоже не знаешь?

— Мать знаю. Я всегда издалека узнаю её походку.

— Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

— Знаешь, — заговорил слепой с некоторым оживлением, — я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

— Почему ты знаешь?

— Потому что… видишь ли… Я сам не знаю почему…

— А-а! — протянула девочка, по-видимому, совершенно удовлетворённая этим ответом, и они оба помолчали.

— Я могу читать, — первый заговорил опять Петрусь, — и скоро выучусь писать пером.

— А как же ты?.. — начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса. Но он её понял.

— Я читаю в своей книжке, — пояснил он, — пальцами.

— Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами… Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

— А я могу читать даже по-французски.

— По-французски!.. И пальцами… какой ты умный! — искренно восхитилась она. — Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

— А ты сама?

— Я не боюсь; что мне сделается!

— Ну, и я не боюсь. Разве может быть, чтобы мужчина простудился скорее женщины? Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни голода, ни грома, ни тучи.

— Максим?.. Это который на костылях?.. Я его видела. Он страшный!

— Нет, он нисколько не страшный. Он добрый.

— Нет, страшный! — убеждённо повторила она. — Ты не знаешь, потому что не видал его.

— Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

— Бьёт?

— Никогда не бьёт и не кричит на меня… Никогда…

— Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

— Да ведь он и никого не бьёт, — сказал Петрусь несколько рассеянно, так как его чуткое ухо заслышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

— Па-ны-чу-у-у!

— Тебя зовут, — сказала девочка, поднимаясь.

— Да. Но мне не хотелось бы идти.

— Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

VII

Девочка точно исполнила своё обещание и даже раньше, чем Петрусь мог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:

— Отпусти меня на минуту. Там пришла девочка.

— Какая ещё девочка? — удивился Максим и пошёл вслед за мальчиком к выходной двери.

Действительно, вчерашняя знакомка Петруся

в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.

— Что тебе, милая девочка, нужно? — спросила та, думая, что её прислали по делу.

Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:

— Это у вас есть слепой мальчик?.. Да?

— У меня, милая, да, у меня, — ответила пани Попельская, любуясь её ясными глазами и свободой её обращения.

— Вот, видите ли… Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?

Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.

— Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил, — сказал мальчик, здороваясь. — Только у меня теперь урок.

— Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя, — сказала Анна Михайловна, — я у него попрошу.

Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:

— Это хорошо, что вы не бьёте слепого мальчи-

ка. Он мне говорил.

— Неужели, сударыня? — спросил Максим с комическою важностью, принимая в свою широкую руку маленькую ручку девочки. — Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая её руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

— Смотри-ка, Аннуся, — обратился он к сестре с странною улыбкой, — наш Пётр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласись, Аня… несмотря на то, что он слеп, он всё же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

— Что ты хочешь этим сказать, Макс? — спросила молодая женщина строго, и горячая краска залила всё её лицо.

— Шучу! — ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тайную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна ещё более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приняла

неожиданно бурную ласку всё с тем же ясным, хотя и несколько удивлённым взглядом.

VIII

С этого дня между посессорским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайшие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать бельё и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле «отца папежа»[96]. Наконец, его твёрдое убеждение состояло в том, что на небе есть бог, а Вольтер[97] и вольтерианцы кипят в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Однако при

---

[96] Примечания: 96

Отец па́пеж (*польск.*) — римский папа.

[97] Примечания: 97

Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694–1778) — французский просветитель, философ, историк.

ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка — человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие этого посессор пошёл на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счёл уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

— Вот что, Веля… — сказал он, взяв дочь за плечо и посматривая на её будущего учителя. — Помни всегда, что на небе есть бог, а в Риме святой его «папеж». Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец, — это primo[98].

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчёркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науке и в случае чего его провести трудно.

— Secundo[99], я шляхтич славного герба, в котором вместе с «копной и вороной» недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские,

---

[98] Примечания: 98
Во-первых (*лат.*).

[99] Примечания: 99
Во-вторых (*лат.*).

будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники[100] и всегда смыслили кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить. Ну а в остальном, что касается orbis terrarum[101], то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

— Не бойтесь, пан Валентин, — улыбаясь, ответил на эту речь Максим, — мы не вербуем панёнок для отряда Гарибальди.

IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шёл, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приёмы, чтобы объяснить мальчику что-либо трудно понятное для него, слепого. Кроме того, её общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром

---

[100] Примечания: 100
Трéбники — богослужебные книги.

[101] Примечания: 101
Круг земной (*лат.*).

благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашёл то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была её близость. На утёс или на реку они всегда отправлялись вдвоём. Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски-живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в её несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землёю сырой и чёрной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах её робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идёт, какая туча тёмная-претёмная!» — он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в её голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далёкой высоте, чудовища.

Глава четвёртая

I

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединённой с печалью и заботой, — натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немыслим будничный подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишёнными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя…

Маленькая знакомка Петра представляла в себе

все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, даётся в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимала, какое счастье случай послал её сыну в этой детской дружбе. Понимал это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть всё, чего ему ещё недоставало, что теперь душевное развитие слепого пойдёт тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом…

Но это была горькая ошибка.

II

В первые годы жизни ребёнка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то во всяком случае ни одна новая сторона его, ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребёнка период, который является переходною гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания. Чуть не каждая неделя приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда

Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появлявшихся у ребёнка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, её даровые откровения, казалось, доставляли ребёнку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней.

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что не он один владеет умственным строем ребёнка, что в этом строе сказывается что-то от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причиной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источник этих, откуда-то пробиваю-

щихся, родников, чтоб… навсегда закрыть их для блага слепого ребёнка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери. Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

— Мама, мама! — закричал он. — Я *видел* сон.

— Что же ты видел, мой мальчик? — спросила она с печальным сомнением в голосе.

— Я видел во сне… я вижу тебя и Максима, и ещё… что я всё вижу… Так хорошо, так хорошо, мамочка!

— Что же ещё ты видел, мой мальчик?

— Я не помню.

— А меня помнишь?

— Нет, — сказал мальчик в раздумье. — Я забыл всё… А всё-таки я видел, право же, видел… — добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза…

Это повторялось ещё несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

III

Однажды, проходя по двору, Максим услышал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные

упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса. Полюбопытствовав узнать, что могли означать эти странные экзерциции[102], Максим заковылял по двору и через минуту вошёл в гостиную. В дверях он остановился, как вкопанный, перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шёл уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинным клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил паничу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать, с пылающим, возбуждённым лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую

[102] Примечания: 102
Экзерци́ции — упражнения.

ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своём стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребёнка. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются чёрными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он, в свою очередь, очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

— Аннуся! что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

— Вот, видишь ли, — заговорила она смущённо, — он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чём эта разница… Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что это правда…

— Ну, так что же?

— Ничего, я только хотела ему… немножко… объяснить эту разницу различием звуков… Не

сердись, Макс, но, право, я думаю, что это очень похоже…

Эта неожиданная идея поразила Максима таким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил её повторить свои опыты и, присмотревшись к напряжённому выражению лица слепого, покачал головой.

— Послушай меня, Анна, — сказал он, оставшись наедине с сестрою. — Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

— Но ведь это он сам заговорил первый, право… — прервала Анна Михайловна.

— Всё равно. Мальчику остаётся только свыкнуться со своей слепотой, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не наводили его на бесплодные вопросы, и если б удалось устранить эти вызовы, то мальчик не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

— Мы грустим, — тихо возразила молодая женщина.

— Аня!

— Мы грустим, — ответила она упрямо… — Мы

часто грустим о невозможном…

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался: заботясь об устранении внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самою природою.

IV

«Глаза, — сказал кто-то, — зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек — одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это тёмное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая ду-

ша, со всеми её способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в тёмной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании «возможностей» силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна остаются закрытыми; судьба мальчика решена: ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдёт в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребёнка проходила среди нужды и горя — это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устранили от него всё, что могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворённость слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смутное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода силы.

Отсюда — какие-то смутные предчувствия и

порывы, вроде того стремления к полёту, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда, наконец, вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни «возможности» световых представлений вставали, точно призраки, в детской головке, бесформенные, неясные и тёмные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального «случая» за нарушенный общий закон.

V

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворённой потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, это — не будить её раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжёлая судьба ребёнка должна была идти своим чередом, со всеми её суровыми последствиями.

И она надвигалась тёмною тучей. Природная живость мальчика с годами всё более и более

исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но беспрерывно звучавшее в душе его грустное настроение усиливалось, сказываясь на его темпераменте. Смех, который можно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался всё реже и реже. Всё смеющееся, весёлое, отмеченное печатью юмора, было ему мало доступно; но зато всё смутное, неопределённо-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательною полнотой. Слёзы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как «в полі могыла з вітром говорила», и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нём всё больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утёсе, он слушал лишь шелест листьев да шёпот травы или неопределённые вздохи степного ветра. Всё это особенным образом гармонировало с глубиной

его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал её вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими определёнными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающею тихою гармонией, размягчалась от тёплой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывавшийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно — белокурая девочка из посессорской усадьбы.

И эта дружба крепла всё больше, отличаясь полною взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения своё спокойствие, свою

тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей… своё горе. Казалось, первое знакомство с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанёсший удар, и она истечёт кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком, маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для неё всё более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить своё собственное страдание.

VI

Однажды в тёплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любуясь звёздным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой, по обыкновению, сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы было совсем тихо; только листья по временам, чутко встрепенувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.



В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины тёмной лазури, пронёсся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вздрогнул.

— Что это… было? — повернулся он к ней взволнованным лицом.

— Это звезда упала, дитя моё.

— Да, звезда, — прибавил он задумчиво. — Я так и знал.

— Откуда же ты мог знать, мой мальчик? — переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

— Нет, это он говорит правду, — вмешалась Эвелина. — Он многое знает… «так»…

Уже эта всё развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно-уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа даёт как будто нарочно; в них молодой организм устаивается и крепнет для новой бури. Во время этих затиший незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок — и всё душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала.

Глава пятая

I

Так прошло ещё несколько лет.

Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась ещё гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились и соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано — безразлично.

Максим поседел ещё больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своём тесном кругу, довольствуясь своею собственною тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь посессорской «хатки». Таким образом, Пётр, ставший уже юношей, вырос, как тепличный цветок,

ограждённый от резких сторонних влияний далёкой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного тёмного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма, без конца и пределов: чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание; ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тронет в нём что-то такое, что так томительно дремлет в душе и ждёт пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шёпотом старого сада, навевая смутную, баюкающую, успокоительную думу. О далёком мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шёпот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далёкой жизни. И всё это рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку, как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что ограждённая будто стеной душа её сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусствен-

ном, но спокойном. И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привёл имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что всё делается само собой. Один только Максим по своей натуре с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдованного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот, наконец, наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в неё могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

II

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученки гостит приезжая молодёжь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодёжь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрученка был студент Киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал музыку в Петербургской консерватории. С ними приехал ещё юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрученко был крепкий старик, седой, с длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе, как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нём не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя.

Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта «неволя» была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец[103] в мужицкой мошне.

Зато, если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как Бульба, то всё же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодёжью вспыхивали нескончаемые споры. Начиналось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил «идеальных паничей»; те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда подымался самый невообразимый галдёж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни «отцов и детей»: только здесь это явление сказывалось в значительно смягчённой форме. Молодёжь, с дет-

---

[103] Примечания: 103
Карбова́нец — рубль.

ства отданная в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна «народолюбия», заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привёл их к непосредственному изучению проявлений «народного духа» в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в Юго-западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но всё же они никогда не могли договориться с молодёжью до какого-либо соглашения.

— Вот послушай ты его, — говорил Ставрученко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. — Вот, собачий сын,

говорит, как пишет!.. Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, учёный человек, как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохляцким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но в свою очередь не оставались в долгу. «Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далёкие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса».

Старику не было неприятно слушать мудрёные речи сыновей.

— Таки видно, что недаром в школе учились, — говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей. — А всё же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введёт, и выведет, как телят на верёвочке, вот что!.. Ну а я и сам его, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною всё равно, что щенята перед старым псом.

III

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение удалилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрученко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подостлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлёгся на траве с несколько тенденциозною непринуждённостью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с Эвелиной. Кадет в аккуратно застёгнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, опустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

— Что вы думаете обо всём, что здесь говорилось, панна Эвелина? — обратился к своей соседке молодой Ставрученко. — Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

— Всё это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но…

— Но… что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к се-

бе на колени свою работу, разгладила её руками и, слегка наклонив голову, стала рассматривать её с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживлённое любопытством. Её сосед уставился на неё спокойным, пытливым взглядом. Слепой переменил свою непринуждённую позу, выпрямился и потом вытянул шею, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

— Но, — проговорила она тихо, всё продолжая разглаживать рукой свою вышивку, — у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

— Господи! — резко воскликнул студент, — какое благоразумие! Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

— Семнадцать, — ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопытством: — А ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

— Если б у меня спросили мнение насчёт ва-

шего возраста, — сказал её сосед, — я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем-таки ребёнком, а рассуждаете порой, как опытная старушка.

— В серьёзных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьёзно, — произнесла маленькая женщина докторальным[104] тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчёт её вида было совершенно справедливо. При первом взгляде на это небольшое, худощавое созданьице казалось, что это ещё девочка, но в её неторопливых, размеренных движениях сказывалась нередко солидность женщины. То же впечатление производило и её лицо. Такие лица бывают, кажется, только у

---

[104] Примечания: 104
Докторáльный — наставительный.

славянок. Правильные красивые черты зарисованы плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжёлою косой, как будто оттягивавшей назад её голову при походке. Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Чёрные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряжённо вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

— Итак, — насмешливо заговорил студент после некоторого молчания, — панна Эвелина полагает, что всё, о чём мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины — узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышалось самодовольство (тогда эти словечки были совсем новенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

— Вы слишком торопитесь со своими заключениями, — сказала она. — Я понимаю всё, о чём здесь говорилось, — значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьём с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший вопрос.

— Странно, — пробормотал он. — Можно подумать, что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

— Что же тут странного, Гаврило Петрович? — тихо возразила девушка. — Я думаю, даже Илья Иванович (имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

— Это правда, — сказал кадет, довольный этим

вызовом. — Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

— Ну, вот видите, — сказала она через минуту с какою-то холодною резкостью в голосе, — у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьёзная тишина, под которою чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешёл на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна…

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чём-то недовольного старого сада.

V

Все эти беседы, эти споры, эта волна кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений — всё это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна ка-

тится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжёлая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство. Один Максим будто не замечал, какое действие производит шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей наведываться почаще в усадьбу, обещая молодым людям обильный этнографический[105] материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колёса

---

[105] Примечания: 105

Этнографи́ческий, этногра́фия — наука, изучающая быт, нравы, культуру разных народов.

их брички. Затем он быстро повернулся и ушёл в сад.

С отъездом гостей в усадьбе всё стихло, но эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывавшихся только шёпотом буков и сирени, слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чём-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твёрдо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно беспощадною рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей до сих пор мир слепого. Гулкая, беспокойная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготила спокойная тишь усадьбы, ленивый шёпот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными

голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого оживления.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе — тупым, хотя ещё смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении совершенно беззащитны, и потому на побледневшем лице Петра можно было читать, как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной… На нём была написана мучительная тревога. Женщины видели, что Максим тоже замечает всё это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. «Теплица? — что ж такое, если её ребёнку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда… Спокойно, тихо, невозмутимо…» Эвелина не высказывала, по-видимому, всего, что было у неё на душе, но с некоторых пор она переменилась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда

совсем незначительных, его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на неё из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порой с гневным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твёрдо стоял на своём и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции[106] насчёт неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэтому женщина не может видеть дальше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца своё подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе. В какой форме — он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечатлений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины

---

[106] Примечания: 106

Сенте́нция — нравоучительное изречение.

хотят совсем другого…

— Наседка! — говорил он иногда сестре, сердито стуча по комнате своими костылями… Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присутствовала Эвелина, дело становилось серьёзнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодою девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они ещё только изучали противника, тщательно скрывая свои карты.

VI

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодною сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодёжь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на завалинке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела

спохватиться, как разговор опять перешёл на щекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый — ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползлись вечерние тени, как незаметно завёл соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчётно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки…

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчёта, был обращён теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Её глаза заискрились, щёки загорелись румянцем, сердце стучало… Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце застучало ещё сильнее, и на побледневшем лице появилось выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед её глазами будто раздвинулась тёмная стена, и в этот просвет блеснули далёкие перспективы обширного, кипучего и деятельного мира.

Да, он манит её уже давно. Она не сознавала

этого ранее, но в тени старого сада, на уединённой скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далёкие картины, и в них не было места слепому…

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит её, он предъявляет на неё какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра, и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый: вся его фигура казалась отяжелевшей и осталась в её памяти мрачным пятном. «Он понимает… всё», — мелькнула у неё мысль, быстрая, как молния, и девушка почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, а на лице она сама ощутила внезапную бледность. Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далёком мире, а он сидит вот здесь, один, с опущенною головой, или нет… Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер…

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из её давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше её самой знал её настроение, он угадал,

что в её сердце возможна ещё борьба и выбор, что она в себе не уверена… Но нет — он ошибается. Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни ещё…

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжёлой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать, долго ли длилось молчание, давно ли смолк студент, говорил ли он ещё что-нибудь… Она посмотрела туда, где за минуту сидел Пётр… Его не было на прежнем месте.

VII

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

— Извините, господа, — сказала она, обращаясь к гостям. — Я вас на время оставлю одних.

И она пошла вдоль тёмной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услыхала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

— Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нём, — говорил старик сурово. — Подумай, ведь она ещё ребёнок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться

неведением ребёнка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слёзы.

— А что же, Макс, если… если она… Что же будет тогда с моим мальчиком?

— Будь что будет! — твёрдо и угрюмо ответил старый солдат. — Тогда посмотрим; во всяком случае на нём не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни… Да и на нашей совести тоже… Подумай об этом, Аня, — добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал её. Анна Михайловна склонила голову.

— Мой бедный мальчик, бедный… Лучше бы ему никогда не встречаться с нею…

Девушка скорее угадала эти слова, чем расслышала: так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи… Теперь, когда она выйдет, оба они увидят, что она подслушала их тайные мысли…

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и, во всяком случае, не ложный стыд может остановить её на её дороге. К тому же этот старик берёт на себя слишком много. Она сама сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль, чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на неё с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла с таким гневно вызывающим видом, пронесла с собой счастье или несчастье всей жизни её ребёнка.

VIII

В дальнем конце сада стояла старая заброшенная мельница. Колёса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор. Но теперь ему было не до того… Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искажённым от внутренней боли лицом.

Заслышав лёгкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьёзно:

— Скажи мне, Пётр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову. От усадьбы слышалась песня:

З-за крутоі горы,
Выліталы орлы,
Вьліталы, гуркоталы,
Роскоши шукалы…

Смягчённый расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастье, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шёпот сада…

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она ещё несколько минут назад была с ними, опьянённая мечтами об этой жизни, в которой *ему* не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя…

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда ещё не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что её присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом её шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчёта в этом чувстве, но оно было ему знакомо, и он легко подчинялся его благотворному влиянию.

— Что с тобой? — повторила она свой вопрос.

— Ничего особенного, — ответил он с горечью. — Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую «думу», подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев…

Пётр невольно остановился, прислушиваясь.

— Знаешь, — заговорил он грустно, — мне кажется иногда, что старики правы, когда говорят,

что на свете становится с годами всё хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и сёлам… Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом, и тот — ты слышала? — говорит: жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я… а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

— Это ты наслушался речей молодого Ставрученка, — сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

— Да, — задумчиво ответил Пётр и прибавил: — у него очень приятный голос. Красив он?

— Да, он хороший, — задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: — Нет, он мне вовсе не нравится! Он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий.

Пётр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

— И всё это глупости! Это всё, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого

Максима.

— Что ты это, Веля? — спросил удивлённо слепой. — Что подстраивает?

— Ненавижу, ненавижу Максима! — упрямо повторяла девушка. — Он со своими расчётами истребил в себе всякие признаки сердца… Не говори, не говори мне о них… И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?

Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала.

Слепой взял её за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к её плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь…

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

— Какая я, однако, глупая! И о чём это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила растроганным и добрым голосом:

— Нет, будем справедливы: оба они хорошие!.. И то, что он говорил сейчас, — хорошо. Но ведь это же не для всех.

— Для всех, кто может, — сказал слепой.

— Какие пустяки! — ответила она ясно, хотя в её голосе вместе с улыбкой слышались ещё недавние слёзы. — Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живёт, как может. Ну, и мы…

— Не говори: мы! Ты — совсем другое дело…

— Нет, не другое.

— Почему?

— Потому что… Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Пётр остановился в изумлении.

— Я?.. На тебе?.. Значит, ты за меня… замуж?

— Ну да, ну да, конечно! — ответила она с торопливым волнением. — Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

— Конечно, — согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас спохватился. — Послушай, Веля, — заговорил он, взяв её за руку. — Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы от-

крыться широкая дорога… А я…

— Что же ты?

— А я… слепой! — закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнилось детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и её горькие слёзы при слове «слепой»… Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По её лицу действительно пробежала судорога, но девушка овладела собой, и, когда она заговорила, голос её звучал беспечно и шутливо.

— Так что же, что слепой? — сказала она. — Но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого… Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

— Полюбит… — сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись — он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова… — Полюбит? — переспросил он с возрастающим волнением.

— Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга… Какой ты глупый! Ну, подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?..

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо; только вода всё говорила о чём-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черёмуха шептала тёмною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою…

— Я бы умер, — сказал он глухо.

Её губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым, детским голосом:

— И я тоже… Без тебя, одна… в далёком свете…

Он сжал её маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что её тихое ответное пожатие так непохоже на прежние: слабое движение её маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней ещё какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда под влиянием глубокой нежности он привлёк её одною рукой, а другою стал гладить её шелковистые волосы.

И ему казалось, что всё горе смолкло в глубине

сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, защёлкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив её, вздохнул полною грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно; он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном: «Ну, теперь вернёмся к гостям», он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

IX

Гости и хозяева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди

разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Попельский, значительно округлевший и, как всегда, благодушный, дремал на своём стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все повернулись туда. В тёмном четырёхугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это её не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась, и её глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шёл вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведёт его. Когда в дверях показались его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещённой комнаты. Но затем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же

полурассеянным, полусосредоточенным видом, подошёл к фортепиано.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба наполнялась говором и пением приезжей молодёжи, Пётр ни разу не подходил к фортепиано, на котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии. Это воздержание делало слепого ещё более незаметным в оживлённом обществе, и мать с сердечной болью следила за тёмной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь, в первый ещё раз, Пётр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту… Казалось, он забыл о присутствии чужих. Впрочем, при входе молодых людей в гостиной стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою…

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми, лёгкими аккордами. Казалось, он о чём-то спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостиной стала

ещё глубже.

Ночь глядела в чёрные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зелёные группы листьев, освещённых светом лампы. Гости, подготовленные только что смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, витавшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Пётр всё молчал, приподняв кверху слепые глаза, и всё будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколыхавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку… На лице виднелись удивление, вопрос, и ещё какое-то особенное возбуждение проходило по нём быстрыми тенями. Слепые глаза казались глубокими и тёмными.

Одну минуту можно было подумать, что он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя всё с тем же удивлённым видом и всё как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким

и певучим аккордам…

X

Пользоваться нотами слепому вообще трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причём тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединённые в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки. Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это — очень сложная и трудная работа; однако Петру и в этом случае помогала любовь к отдельным составным частям этой работы. Заучив на память по нескольку аккордов для каждой руки, он садился за фортепиано, и когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже завлекала.

Тем не менее между изображённою на бумаге пьесой и её исполнением ложилось в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был

пройти через руки, закрепиться в памяти и затем совершить обратный путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие успело отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в какие отливалась затем игра его матери. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненною душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой степени своеобразное, что на лицах посторонних слушателей появилось удивление. Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно, и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго ещё вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста. Струны звенели и рокотали, наполняя гостиную и разносясь по смолкшему саду… Глаза молодёжи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец

сидел, свесив голову, и молчаливо скучал, но потом стал воодушевляться всё больше и больше, поталкивая Максима локтем, и шептал:

— Вот этот играет, так уж играет. Что? Не правду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спор-щик стал вспоминать что-то, должно быть, свою молодость, потому что глаза его заискрились, лицо покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком по столу, но удержался и опустил кулак без всякого звука. Оглядев своих молодцов быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

— Хотят стариков в архив… Брешут!.. В своё время и мы с тобой, братику, тоже… Да и теперь ещё… Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Ещё раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врывался в его систему совсем не так, как он думал… Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это — счастье или

горе звучит в игре её сына… Эвелина сидела в тени от абажура, и только её глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шёпот черёмухи в потемневшей аллее.

XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Пётр отдался своему воображению. Тут было всё, что теснилось в его воспоминании, когда он, за минуту перед тем, молча и опустив голову, прислушивался к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шёпот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Всё это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение… Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость?.. Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепли. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для

него силе этих неожиданных мелодий и ждал ещё чего-то… Казалось, вот-вот несколькими ударами всё это сольётся в стройный поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жалобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и ещё долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, нарушаемая только шёпотом листьев в саду. Обаяние, овладевавшее слушателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в тёмные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепли и искали чего-то, подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределённый перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить своё чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине ма-

ленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешённого вопроса.

XII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына, увидала на нём выражение, которое показалось ей знакомым: в её памяти встал солнечный день давней весны, когда её ребёнок лежал на берегу реки, подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрученко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, ещё взволнованные и возбуждённые, пожимали руки музыканта, предсказывали ему широкую известность артиста.

— Да, это верно! — подтвердил старший брат. — Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но, скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Пётр назвал итальянскую пьесу.

— Я так и думал, — ответил молодой человек. — Мне она несколько знакома… У вас удивительно

своеобразная манера… Многие играют лучше вашего, но так, как вы, её не исполнял ещё никто. Это… как будто перевод с итальянского музыкального языка на малорусский. Вам нужна серьёзная школа, и тогда…

Слепой слушал внимательно. Впервые ещё он стал центром оживлённых разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворённости и страдания, как ещё никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своём стуле, с рукой, ещё вытянутой на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке чьё-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

— Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами…

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены, кроме матери. Её лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой всё сидел на том же месте. Он боролся

с нахлынувшими на него впечатлениями нового счастья, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжёлою тучей откуда-то из глубины мозга.

Глава шестая

I

На другой день Пётр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не начиналось ещё движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Пётр отлично чувствовал природу. Он знал, что ещё рано, что его окно открыто — шорох ветвей раздавался отчётливо и близко, ничем не отдалённый и не прикрытый. Сегодня Пётр чувствовал всё это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал ещё, что всё его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к тихому щебетанию какой-то пташки в саду и к странному чувству, нараставшему в его сердце.

«Что это было со мной?» — подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой

мельницы: «Неужели ты никогда не думал об этом?.. Какой ты глупый!..»

Да, он никогда об этом не думал. Её близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает с высоты камень на зеркальную поверхность воды: ещё за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо… Один удар — и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновлённою душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая всё, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону её «нового» голоса, который восстановило в его памяти воображение. «Полюбила…» «Какой ты глупый!..»

Он быстро вскочил, оделся и по росистым дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черёмухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро. И никогда ещё он не «чувствовал» света так ясно. Казалось, вместе с душистою сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи

весёлого дня, щекотавшие его нервы.

II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама. Максим чаще шутил, хотя всё же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороною грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по-видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чём иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно принимая эти слова на свой счёт, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьёзно своё музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнивы были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось «бабье лето», Попельские всей семьёй отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в

семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, ещё видные на Волыни и в Прибужье, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах[107], сёла, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные жёлтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далёкие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Пётр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу своё чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к тёмной и неопределённой дали, которою охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, всё расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Пётр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием

---

[107] Примечания: 107
Лева́да — участок земли около хаты.

слушал умелую игру старшего Ставрученка и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушёвывался в дальних углах, а, как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя ещё холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринуждённо, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пёстрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров...[108] Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим

---

[108] Примечания: 108
Жóлнер — солдат в польской армии.

лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени, хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди, и Пётр в том числе, отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колёс едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора[109] и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

— Знаете ли… — сказал, подъезжая к коляске, студент. — Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернём туда. Это недалеко, на краю села.

---

[109] Примечания: 109
Ме́нтор — наставник.

— Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина.

— На этот вопрос отвечу после! Сворачивай к Колодне, к леваде Остапа; тут у перелаза остановишься! — крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колёсами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким просёлком, молодые люди пронеслись мимо него и спешились впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Пётр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить своё положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был тёмною ночью, только оживлённою яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся коляски и весёлые шутки встречавшей её молодёжи. Около него лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода… Где-то недалеко, вероятно, над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по лёгкому ветру.

Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чём-то вспомнившего петуха, лёгкий визг «журавля» над колодцем — во всём этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня крайнего сада… Из более отдалённых звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или ещё по каким-то, может быть, и ему самому неизвестным, признакам Пётр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырём, местность внезапно обрывается, быть может, над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина, с неопределёнными, трудно уловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далей в вечернем тумане…

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как

протяжный звон эоловой арфы[110]. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далёкого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков… Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределённом и тёмном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю, каменная плита. Зелёные листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь[111] на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шёпот над заросшею могилой.

— Мы только недавно узнали о существовании

---

[110] Примечания: 110

Э́олова арфа — музыкальный инструмент у древних греков, струны которого приводились в колебание дуновением ветра (Эол в древнегреческой мифологии — повелитель ветров).

[111] Примечания: 111

Ку́коль — однолетнее растение, вид рода куколь, семейство гвоздичные.

этого памятника, — сказал молодой Ставрученко, — а между тем знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то «лыцарь», старый ватажко[112] Игнат Карый…

— Так вот ты где успокоился, старый разбойник? — сказал Максим задумчиво. — Как он попал сюда, в Колодню?

— В 17.. году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками… Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками… Вероятно, осаждённым удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты и монастырь всё-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана.

В этой истории, — продолжал молодой человек задумчиво, — есть ещё другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист… слепой, сопровождавший атамана в походах…

— Слепой? В походах? — испуганно произнесла

---

[112] Примечания: 112
Ватáжко — предводитель.

Анна Михайловна, которой сейчас же представился её мальчик в страшной ночной сече.

— Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец… так, по крайней мере, говорит о нём запись, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню её на память: «А с ним славетный поэта козацкий Юрко, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекла нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талент до складу песенного и до гры струнной, од якои даже и волцы на степу размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в ночном нападе. И тут положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки аминь…»

— Плита довольно широкая, — сказал кто-то. — Может быть, они лежат здесь оба…

— Да, в самом деле, но надписи съедены мхами… Посмотрите, вот вверху булава[113] и бунчук[114].

---

[113] Примечания: 113

Булава́ — палица, служившая военным оружием, а также символ гетманской власти.

[114] Примечания: 114

Бунчу́к — знак власти на Украине.

А дальше всё зелено от лишаёв.

— Постойте, — сказал Пётр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошёл к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зелёный слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твёрдые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

— «…Игнатій прозванием Карій… року божого… пострелен из сайдака стрелою татарскою…»

— Это и мы могли ещё разобрать, — сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряжённые и изогнутые в суставах, спускались всё ниже.

— «Которого убивши…»

— «Сила поганьская…» — живо подхватил студент, — эти слова стояли в описании смерти Юрка… значит, правда: и он тут же под одной плитой…

— Да, — «сила поганьская», — прочитал Пётр, — дальше всё исчезло… Постойте, вот ещё: «порубан шаблями татарскими»… кажется, ещё какое-то слово… но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полуторастолет-

ней плиты…

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошёл к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремлёнными кверху, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

— Сыла господняя, — сказал он, глядя на Петра с благоговением. — Сыла божая открывае сліпенькому, чего зрячий не бачуть очіма.

— Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? — спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. — Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а простой ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками[115].

---

[115] Примечания: 115
Гайдама́ки — украинские казаки-повстанцы.

Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней… Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моём воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой вместо рушницы[116] за спиной и верхом на лошади…

— И, может быть, он участвовал в битвах… В походах во всяком случае и в опасностях также… — продолжал молодой человек задумчиво. — Какие бывали времена на нашей Украине!

— Как это ужасно, — вздохнула Анна Михайловна.

— Как это было хорошо, — возразил молодой человек.

— Теперь ничего подобного не бывает, — резко сказал Пётр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской… Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение… — Теперь всё это уже исчезло, — повторил он.

— Что должно было исчезнуть — исчезло… — сказал Максим как-то холодно. — Они жили по-своему, вы ищите своего…

---

[116] Примечания: 116
Рушни́ца (ручница) — ружьё.

— Вам хорошо говорить, — ответил студент, — вы взяли своё у жизни…

— Ну, и жизнь взяла у меня моё, — усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли.

Потом, помолчав, он прибавил:

— Вздыхал и я когда-то о сечи, об её бурной поэзии и воле… Был даже у Садыка[117] в Турции.

— И что же? — спросили молодые люди живо.

— Вылечился, когда увидел ваше «вольное казачество» на службе у турецкого деспотизма… Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветошь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях… Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьёзно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодёжи, считавшей его своим союзником. Теперь, сам затронутый отголосками

---

[117] Примечания: 117

Чайковский Михаил (1804–1886), украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции.

этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали — может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа, — могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого, — а быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана…

— Что же остаётся нам? — спросил студент после минутного молчания.

— Та же вечная борьба.

— Где? В каких формах?

— Ищите, — ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьёзно. А для серьёзного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени… Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

III



В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далёкий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери… Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны… Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

— Слепой, — прошептала девушка с лёгким испугом.

— Тише, — ответила мать, — и ещё… Ты замечаешь?

— Да…

Трудно было не заметить в лице послушника

странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальца у испуганного насекомого… Его черты были грубее, вся фигура угловатее — но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь, Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак…

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

— Ребят нет? Кышь, проклятые! — мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперёд молодых людей, сказал голосом, в котором слышались какая-то вкрадчивость и жадность:

— Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?.. Идите осторожно — темно…

Всё общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъёмом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь… Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна,

робко стоявшая внизу, пока молодёжь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролёта в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.

— Дядько, дядюшка, пустить, — раздались из-за двери тонкие голоса детей. — Пустить, дядюшка, хороший.

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

— Пошли, пошли, проклятые… Чтоб вас громом убило! — кричал он, хрипя и как-то захлёбываясь от злости…

— Слепой чёрт, — ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног…

Звонарь прислушался и перевёл дух.

— Погибели на вас нет… на проклятых… чтоб вас всех передушила хвороба… Ох, господи! Господи ты боже мой! Вскую мя оставил еси… — сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние исстрадавшегося и глубоко измученного человека.

— Кто здесь?.. Зачем остался? — резко спросил

он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

— Идите, идите. Ничего, — прибавил он мягче. — Постойте, держитесь за меня… Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? — опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил её из протянутой к нему руки, и под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещённое и бледное лицо, так похожее на лицо её сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

— Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка[118] настоящая… Я думал — вы насмех… посмеяться над слепеньким… Другие, бывает, смеются…

Всё лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отёрла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей её компании.

---

[118] Примечания: 118
Столбо́вка — 25 рублей.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь весёлыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

— А вот и сентенция[119], — заметил студент и прочитал с некоторым трудом: — «Мнози суть начинающии, кончающии же вмале...» Очевидно, дело идёт об этом восхождении, — прибавил он шутливо.

— Понимай как хочешь, — грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. — Тут ещё стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

— Где стих? Нет никакого стиха.

— Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое...

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

---

[119] Примечания: 119

Сенте́нция — здесь: краткое изречение нравоучительного характера.

— Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочитаете…

Пётр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть, более столетия уже умершим, человеком:

Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни с жизнию разлуку,
Помни вечную муку…

— Тоже сентенция, — попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

— Не нравится, — ехидно сказал звонарь. — Конечно, ты ещё человек молодой, а тоже… кто знает. Смертный час приходит, яко тать[120] в нощи… Хороший стих, — прибавил он опять как-то по-другому… — «Помни смертный час, помни трубный глас…» Да, что-то вот там будет, — закончил он опять довольно злобно.

Ещё несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело ещё более неудобным проходом выше. С последней

---

[120] Примечания: 120
Тать — вор.

площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжёлая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролёты, шевеля верёвки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то ещё, точно отдалённую невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела ещё другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролётов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше;

широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нём виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нём тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине… Брови шевелились всё тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба заслышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

— Звонят, — сказал Пётр.

— Это у Егорья за пятнадцать вёрст, — пояснил звонарь. — У них всегда на полчаса раньше на-

шего вечерня… А ты слышишь? Я тоже слышу — другие не слышат…

— Хорошо тут, — продолжал он мечтательно. — Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

— Приезжайте послушать. Отец Памфилий… Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, ещё не успевших потемнеть, как другие.

— Славные подголоски… Так тебе и поют, так и поют… Особливо под Пасху.

Он взял в руки верёвки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчётливы, что перезвон был слышен всем, но звук, наверное, не распространялся дальше площадки колокольни.

— А тут тебе вот этот — бу-ух, бу-ух, бу-ух…

Теперь его лицо осветилось детскою радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

— Колокола-то вот выписал, — сказал он со вздохом, — а шубу новую не сошьёт. Скупой! Простыл я на колокольне… Осенью всего хуже…

Холодно…

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

— Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

— Пойдём, — первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно заворожённая. Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Пётр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

— Идите, — сказал он ей повелительно. — Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперёд Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

— Кто здесь? — спросил затем звонарь.

— Я…

— Ты тоже слепой?

— Слепой. А ты давно ослеп? — спросил Пётр.

— Родился таким, — ответил звонарь. — Вот другой есть у нас, Роман, — тот семи лет ослеп… А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

— Могу.

— И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может,

а ему всё-таки легче.

— Почему легче? — живо спросил Пётр.

— Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснёт ночью, она к нему во сне и приходит… Только она старая теперь, а снится ему всё молодая… А тебе снится ли?

— Нет, — глухо ответил Пётр.

— То-то, нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Пётр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания…

— И то согрешаешь не однажды… Господи, создателю, божья матерь, пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидать…

Лицо его передёрнулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

— Так нет, не дают… Приснится что-то, забрезжит, а встанешь, не помнишь…

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

— Чертенят впустили, — сказал он со злостию

в голосе.

Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение всё стихло, вероятно, толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался наружу. Но затем тёмный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась весёлая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искажённым от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

— Брат! — окликнул он приятным, грудным голосом. — Егорий, опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

— Зачем бісенят впустив? — спросил Егорий по-малоросски, всё ещё со злостью в голосе.

— Нехай собі, — благодушно ответил Роман… — Пташки божіи! Ось як ты их налякав. Де вы тут, бісенята…

Дети сидели по углам у решёток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донёсся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в тёмном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошёл ощупью в комнату, когда все легли…

IV

Попельские прожили ещё несколько дней у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлён и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольно обширна и которые очень занимали Петра — каждый со своим особенным голосом, способным выражать особенные оттенки чувства. Но всё же в нём была заметна какая-то омрачённость, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем всё более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре, и вся эта поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Пётр глубоко задумывался, и на лицо его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и сильно напоминало слепого звонаря.

За фортепиано, в минуты наибольшей непосредственности, в его игру часто вплетался теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне… И то, о чём никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным румянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу… А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым выражением лиц, с одинаковыми движениями чутких бровей… То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью тёмной стихии, простиравшей свою таинственную власть одинаково на всех своих жертв.

— Послушай, Аня, — спросил Максим у сестры по возвращении домой. — Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

— Ах, это всё из-за встречи со слепым, — ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно ещё отослала в монастырь две тёплых бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить по возможности участь обоих слепцов. У неё вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Романе, и только

Эвелина напомнила ей, что следовало позаботиться об обоих: «Ах, да, да, конечно», — ответила Анна Михайловна, но было видно, что её мысли заняты одним. К её жгучей жалости примешивалось отчасти суеверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умилостивит какую-то тёмную силу, уже надвигающуюся мрачною тенью над головой её ребёнка.

— С каким слепым? — переспросил Максим с удивлением.

— Да с этим… на колокольне…

Максим сердито стукнул костылём.

— Какое проклятье — быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно, не добьёшься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

— Там, — тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка, — есть слепой звонарь… И он…

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которому текли слёзы.

— И он очень похож на Петра.

— И вы мне ничего не сказали! Ну, что же дальше? Это ещё недостаточная причина для трагедий, Аня, — прибавил он с мягким укором.

— Ах, это так ужасно, — ответила Анна Михайловна тихо.

— Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

— Ты сказала не всё? — спросил Максим после минутного молчания.

— Да. Когда все сошли вниз, Пётр остался. Он велел тёте Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым… И я… тоже осталась.

— Подслушивать? — сказал старый педагог почти машинально.

— Я не могла… уйти… — ответила Эвелина тихо. — Они разговаривали друг с другом, как…

— Как товарищи по несчастью?

— Да, как слепые… Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Пётр говорит: «Не вижу». И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодою, хотя она уже старая…

— Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на

старика свои синие глаза, в которых теперь виднелись борьба и страдание, сказала:

— Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое… Он родился зрячим. А другой… Он очень страдает, — вдруг свернула она.

— Говори, пожалуйста, прямо, — нетерпеливо перебил Максим, — другой озлоблен?

— Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят…

— Зол и похож на Петра… понимаю, — задумчиво сказал Максим.

Эвелина ещё помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжёлой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

— Лицом оба не похожи… черты другие. Но в выражении… Мне казалось, что прежде у Петра бывало выражение немножко как у Романа, а теперь всё чаще виден тот, другой… и ещё… Я боюсь, я думаю…

— Чего ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка, — сказал Максим с необычной нежностью. И, когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со слезами на глазах, он погладил её шелковистые волосы своей большой рукой и сказал: — Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

— Я думаю, что… он считает теперь, что… все слепорождённые злые… И он уверил себя, что он тоже… непременно.

— Да, вот что… — проговорил Максим, вдруг отнимая руку… — Дай мне мою трубку, голубушка… Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось синее облако дыма…

— Гм… да… плохо, — ворчал он про себя… — Я ошибся… Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай… А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь… Всё где-нибудь выставится…

Он совсем потонул в сизых облаках… В квадратной голове старика кипели какие-то мысли и новые решения.

V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями… В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и

запах мягкого снега…

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной «холодности» всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щёлканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошёл, прокладывая рыхлый след по девственным ещё дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смёрзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чуток, отчётливо и полно перенося на далёкие расстояния и крик вороны, и удар топора, и лёгкий треск обломавшейся ветки… По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном

удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой плёнкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замёрз, но речка у мельницы, отяжелевшая и тёмная, всё ещё сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Пётр подошёл к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой — тяжелее и без мелодии. В нём как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей…

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Тёмное чувство, которое ещё в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворённостью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья.

Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к «благодетельнице», старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь. Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим.

Теперь Пётр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя,

чувствует ли он её отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие её не даёт ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без неё несколько притупилось.

Ещё так недавно в его ушах звучали её слова, вставали все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками её шелковистые волосы, слышал у своей груди удары её сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его тёмное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уже с самого начала на дне этого чувства лежало зёрнышко чего-то другого, и теперь это «другое» расстилалось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки её голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжёлым усилием, чтобы её заполнить.

Он хотел её видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное

страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы ещё не обращаем внимания.

Встреча со слепым звонарём придала этой боли остроту сознанного страдания…

Он её полюбил и хотел её видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесённой снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним, живые и яркие, Пётр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернутся. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной, беспросветной печали. В тёмной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый её звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец худшие её опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он ещё спал, но его сон был как-то

странно тревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нём виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога всё вырастает, и на лице спящего обозначается всё яснее выражение напряжённого усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Ещё и ещё… светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере её приближения беспокойство спящего всё возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, лёгкими, но всё же заметными толчками всё ближе надвигается к лицу её сына. И это лицо всё больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжёлого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеп-

лился на лбу юноши. Мать вся подалась вперёд, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги её не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожной вспышкой по губам, и всё лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Наконец мать победила оковавшую её члены неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

— Ты, мама? — спросил он.

— Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжёлый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:

— Я опять видел сон… Я теперь часто вижу сны, но ничего не помню.

VI

Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительною нервностью, и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные

ночи от тёмных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей.

Когда же этот шар, всё выраставший по мере приближения к земле, подёргивался тяжёлым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату.

О чём он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже деятельной жизни, человек старается определить своё место в природе, своё значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода «мёртвая точка», и благо тому, кого размах жизненной силы проведёт через неё без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис ещё осложнялся; к вопросу: «зачем жить на свете?» — он прибавлял: «зачем жить именно слепому?» Наконец в самую эту работу нерадост-

ной мысли вдвигалось ещё что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутолённой потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед Рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из посессорского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостью, но затем на нём появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

— Ты думаешь, я люблю тебя? — резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

— Я в этом уверена, — ответила девушка.

— Ну, а я не знаю, — угрюмо возразил слепой. — Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовёт тебя к жизни, пока не поздно.

— Зачем ты мучишь меня? — вырвалась у неё тихая жалоба.

— Мучу? — переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма. — Ну, да, мучу. И буду мучить таким образом всю

жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я ещё не родился, вложила в меня эту злобу… Мы все такие, рождённые слепыми. Оставь меня… бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви… Я хочу видеть — понимаешь? Хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен… Я запомнил бы, унёс бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни…

И он с замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалою внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые, при напряжённой чуткости нервной системы, он смутно улавливал посредством осязания. Но всё это проникало в его сознание именно только как различия, в своих взаимных отношениях, но без определённого чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего

к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.

VII

Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущённой. Лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

— Вот он спрашивает, — сказала Эвелина Максиму, — что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить.

— В чём дело? — спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами.

— Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета и я их не вижу, то, значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте.

— Пустяки и ребячество, — ответил Максим резко. — И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

— Но что же значит это выражение?.. Ведь должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

— Это простое сравнение, — сказал он. — Так как и звук, и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

— Какие же тут разумеются свойства? — продолжал упрямо допрашивать слепой. — «Красный» звон… какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. Притом же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное, не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чём же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

— Погоди, — сказал он. — Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе как следует… Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение…

— Да, да, погоди, — сказал Пётр, быстро открывая пианино.

Он ударил своей умелой рукой по клавишам,

подражая праздничному колокольному трезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нём выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем это был именно тот высокий и возбуждённо-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

— Да, — сказал Максим, — это очень похоже, и мы, с открытыми глазами, не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли… когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, тёмный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и так же быстро упадающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз, — по крайней мере, на мой глаз.

— Это верно, верно! — живо сказала Эвелина. — Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть…

— Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что моё сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопо-

ставление: существует также «малиновый» звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

— Нет, — сказал Максим. — Я бы сказал, что это слишком красно…

— А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживлённо и ярко, звуки становились всё глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю безвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, всё тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

— Вот-вот! — сказал Максим. — Ты понял разницу. Когда-то, — ты был ещё ребёнком, — мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

— Да, я помню… Зачем ты запретил нам то-

гда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять.

— Нет, — задумчиво ответил старик, — ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже как однородные. Мы говорим: он видит всё в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще, звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. «Продолжать ли?» — подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей:

— Да, да! Странные мысли приходят мне в голову… Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли… когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти — это значит, что кровь бьёт из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну и она у нас

красная…

— Красная… горячая… — сказал юноша вдумчиво.

— Именно — красная и горячая. И вот красный цвет, как и «красные» звуки, оставляют в нашей душе свет, возбуждение и представления о страсти, которую так и называют «горячею», кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны «горячими».

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

— Если ты взмахнёшь рукой над своею головою, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении… Так же далеко видим мы над собой полушаровой свод неба; оно ровно, бесконечно и сине… Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределённым волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча.

— Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу…

— Это верно. Мы ждём, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдёт, а небо над нею останется всё то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо сине… Море тоже сине, когда спокойно. У твоей матери синие глаза. У Эвелины тоже.

— Как небо… — сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.

— Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зелёном цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только тёплые и светлые лучи разогреют тёмные поверхности, из них ползут кверху зелёная трава, зелёные листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровье, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем… Понял ли ты?

— Н-нет… не ясно… но всё же, пожалуйста, говори дальше.

— Ну, что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается всё жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья

в истоме опускаются книзу и, если солнечный зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблёкнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливается и алеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света; в нём как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь — цвет страсти, и он служит её символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы во времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развевается над ними, как пламя… Но ведь ты опять не понимаешь?..

— Всё равно, продолжай!

— Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срывается и падает на землю… Он умирает, но в нём живёт семя, а в этом семени живёт в «возможности» и всё будущее растение, с его будущею роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землёй низко подымается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи… Не только страсть, но и самая жизнь замирают тихо, незаметно… Земля всё больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны… И вот наступает день, когда на эту смирившуюся

и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок, и вся она становится ровна, одноцветна и бела… Белый цвет — это цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недосягаемом холоде поднебесных высот, — цвет величавых и бесплодных горных вершин… Это — эмблема бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается чёрного цвета…

— Знаю, — перебил слепой. — Это — нет звуков, нет движений… ночь…

— Да, и потому это — эмблема печали и смерти…

Пётр вздрогнул и сказал глухо:

— Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня всё черно… всегда и всюду черно!

— Неправда, — резко ответил Максим, — для тебя существуют звуки, тепло, движение… ты окружён любовью… Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец… Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем…

— Да! — воскликнул Пётр страстно. — Я ношусь с ним поневоле: куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

— Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в срав-

нении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окружённая участием, может быть названа блаженством, — тогда…

— Неправда, неправда! — гневно перебил слепой тем же тоном страстного возбуждения. — Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это большая ошибка… Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там — пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если б это не удалось, я страдал бы от голода и холода… и всё это не оставляло бы мне ни минуты и… и… от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь…

— Ты думаешь? — спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьёзная и бледная.

— Уверен, — ответил Пётр упрямо и жёстко. — Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю

Егора: вот он подымается на свою вышку…

— Ему холодно, — подсказал Максим.

— Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия, который не заведёт ему шубы. Потом он берёт иззябшими руками верёвки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой… Потому что тут было бы холодно и не слепому… А я не забываю, и мне…

— И тебе не за что проклинать!..

— Да! Мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего…

— Не стану спорить, — холодно сказал старик. — Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он ещё раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора ещё обострилось, и он ещё более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Тёмная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил её и не находил ей

конца. А над нею было что-то другое… В воспоминании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шири и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось — что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и матери, «у которых глаза, как небо»; тогда возникающий образ, выплывший из далёкой глубины воображения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти тёмные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворённость и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

VIII

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полною точностью её чудодейственную силу: всякий, кто

приходил к иконе в день её праздника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершённые в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первою зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали «брички» панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также негодующие и огорчённые православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны «каплицы» народ вытянулся по дороге несметною пёстрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуёй разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище

нищих, протягивавших руки за подаянием.

Максим на своих костылях и рядом с ним Пётр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосной толпы, выкрикивания евреев-факторов, стук экипажей — весь этот грохот, катившийся какою-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь в одно беспрерывное, колыхавшееся, подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, всё же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колёс, людской говор. Целый обоз чумаков[121] выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Пётр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжёлые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились

---

[121] Примечания: 121

Чума́к — крестьянин, возивший на волах рыбу, соль, хлеб.

здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарём, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттёртые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках, и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

— Под-дайте сліпеньким… Ра-а-ди Христа…

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчётная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались ещё довольно отчётливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихою дрожью озноба. Тем не менее даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключённого в них непосредственного страдания.

Пётр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.

— Что же ты испугался? — спросил Максим. — Это те самые счастливцы, которым ты недавно завидовал, — слепые нищие, которые просят здесь милостыню… Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

— Уйдём! — сказал Пётр, хватая его за руку.

— А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдётся другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьёзно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердишься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнёшь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных…

я, Максим Яценко, обещаю тебе своё уважение, помощь и содействие… Слышишь ты меня, Пётр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понёс свою голову в огонь и сечу… Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но чёрт возьми! Я полагаю, что был в своём праве, как и ты теперь в своём!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть… Хведор Кандыба, ты здесь? — крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

— Тут я… Это вы кличете, Максим Михайлович?

— Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

— Приду, паночку. — И голос слепца опять примкнул к хору.

— Вот, ты увидишь человека, — сказал, сверкая глазами, Максим, — который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю… А ты…

— Пойдём, паничу, — сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

— Нет, постой! — гневно крикнул Максим. — Никто ещё не прошёл мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав

даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Пётр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелёк, он пошёл по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукою деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему её также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели… С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Пётр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволнованно.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади, среди слепых, поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег…

IX

Было ли это следствием простуды, или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец, то и другое соединилось вместе, но только на другой день Пётр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался в постели с искажённым лицом, по временам к чему-то прислушиваясь, и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном весеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз, светлым весенним утром, яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

— Задёрни занавеску… Я так боюсь этого света…

Девушка поднялась, чтобы исполнить приказание, но неожиданно раздавшийся, в первый раз, голос больного остановил её:

— Нет, ничего. Пожалуйста… оставьте так…

Обе женщины радостно склонились над ним.

— Ты слышишь?.. Я здесь!.. — сказала мать.

— Да! — ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить.

— Ах, да!.. — заговорил он тихо и вдруг попытался подняться. — Тот... Фёдор приходил уже? — спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой.

— Тише, тише! Не говори: тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыл её поцелуями. На его глазах стояли слёзы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и просили Максима держаться подальше. Но однажды Пётр сам попросил позвать его и оставить их вдвоём. Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил её.

— Ну-ну, мой мальчик, — сказал он. — Я, кажется, должен просить у тебя прощения...

— Я понимаю, — тихо сказал Пётр, отвечая на пожатие. — Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

— К чёрту уроки! — ответил Максим с грима-

сой нетерпения. — Слишком долго оставаться педагогом — это ужасно оглупляет. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя…

— Значит, ты действительно хотел, чтобы?..

— Хотел, хотел!.. Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится… Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим…

Оба замолчали…

— Эта песня, — через минуту сказал Пётр, — я помнил её даже во время бреда… А кто этот Фёдор, которого ты звал?

— Фёдор Кандыба, мой старый знакомый.

— Он тоже… родился слепым?

— Хуже: ему выжгло глаза на войне.

— И он ходит по свету и поёт эту песню?

— Да, и кормит ею целый выводок сирот-племянников. И ещё находит для каждого весёлое слово и шутку…

— Да? — задумчиво переспросил Пётр. — Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы…

— Что ты хотел бы, мой мальчик?..

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо, взволнованные

разговором, который оборвался с её приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с её остатками. Недели через две Пётр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты лица — в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть. Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напряжённость ослаблена болезнью. Однажды в сумерки, подойдя в первый раз после болезни к фортепиано, Пётр стал по обыкновению фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение. Но вот, внезапно, среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась… Пётр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слёзы. Видимо, он не мог ещё справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжкой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось всё тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание

личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врождённую энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нём, надломленная душа давала побеги, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием… Было, между прочим, решено, что ещё этим летом Пётр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоём.

X

Тёплою июльскою ночью бричка, запряжённая парою лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и тёрся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в

степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое.

Впереди, постукивая перед собою длинной палкой, шёл старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от обжога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Кругом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и

сухой стук кованых колёс по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

— Под-дайте сліпеньким… — К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колёс смолк, видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашёл её, и на лице появилось довольное выражение.

— Бог спасёт, — сказал он по направлению к бричке, в сиденье которой виднелась квадратная фигура седого господина, и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца… Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном её резкие ноты… Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колёс замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе…

— У тебя, Юрий, лёгкая рука, — сказал старик. — И играешь славно…

Через несколько минут средний слепец спросил:

— По обещанию идёшь в Почаев?.. Для бога?

— Да, — тихо ответил юноша.

— Думаешь, прозришь?.. — спросил тот опять с горькой улыбкой…

— Бывает, — мягко сказал старик.

— Давно хожу, а не встречал, — угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось всё выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, тёмные фигуры слепых и впереди чёрная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули просёлками на Почаев.

…Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что всё устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались всё дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, всё так же постукивая палкой, шёл Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчез-

ли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы… Незрячие глаза расширялись, ширилась грудь, слух ещё обострялся: он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брёл за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце… И странное дело — теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днём под гул этого великого моря всё более стихали на дне души личные порывания к невозможному… Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых всё росла.

…Позднею осенью, по дороге, занесённой снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у Почаевской

Богоматери исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы… Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, никогда не прощу тебе этого». Но лицо её противоречило суровым словам…

Долгими вечерами Пётр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше… Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра…

Глава седьмая

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским своё неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье всё же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

Тем не менее настоящая его жизнь, проходившая в серьёзной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребёнке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также среди этих забот в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село, где на

краю стояла теперь новая изба Фёдора Кандыбы и его рябого племянника. Фёдор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепли.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли — слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но, кто знает, — быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Пётр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребёнка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Пётр все эти

дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребёнка на руки, он перенёс и уложил его поближе к окну. Быстро отдёрнув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Пётр сидел тут же с опущенной головой, всё такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперёд результаты.

— Он, наверное, слеп, — твердил он. — Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос.

— Зрачок сокращается. Ребёнок видит несомненно.

Пётр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нём жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он её выделил, чувствовал её вне себя, во всей её необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал её воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребёнка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он всё находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили ещё признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбуждёнными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «ребёнок видит!» — перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в тёмную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто про-

жгли в его мозгу огненную дорогу… Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма… Всё в нём дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими ещё до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчёта. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шёпот и шелест зелёной степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Всё остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно — осталось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своём, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он

был так странен, что все невольно обратились к нему, и кругом всё смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот прежний исчез, окружённый внезапно опустившеюся на него тайной.

И он был с этою тайной наедине несколько кратких мгновений… Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к тёмному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню, — теперь, в минуту внезапного экстаза[122], всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?..

И перед незрячими глазами встало синее небо и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал ещё ребёнком… И потом и мельница, и звёздные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна… И пыльный шлях, и линия шоссе,

---

[122] Примечания: 122

Экста́з — высшая степень восторга, воодушевления.

и обозы с сверкающими шинами колёс, и пёстрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых…

Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом, — солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или всё это роилось бесформенными ощущениями в той глубине тёмного мозга, о которой говорил Максим, и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской?..

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе, — аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущение природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом всё тише, чуть слышно… Казалось, что-то

скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму…

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание… Какие-то смутные призраки пытаются ещё возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета… Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пёстрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но всё ещё стоял, озарённый и радостный, сжимая руки матери и Максима.

— Что это с тобой? — спросила мать встревоженным голосом.

— Ничего… мне кажется, что я… видел вас всех. Я ведь… не сплю?

— А теперь? — взволнованно спросила она. — Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

— Нет, — ответил он с усилием. — Но это ничего, потому что… Я отдал всё это… ему… ребёнку и… и всем…

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нём всё ещё блуждал отблеск радостного удовлетворения.

Эпилог

Прошло три года. Многочисленная публика собралась в Киев, во время «Контрактов»[123], слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушёл из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактовая зала была набита битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

— Немудрено, что он производит такое потря-

---

[123] Примечания: 123
Напомним, что «Контрактами» называют киевскую ярмарку.

сающее впечатление, — говорил в толпе какой-то зоил[124] своему соседу. — У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южнорусская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношёрстная контрактовая толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струёю, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грёзы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу.

---

[124] Примечания: 124

Зои́л — придирчивый, несправедливый критик (от греческого критика IV века до н. э. Зоила).

Слепой сидел с опущенною головой, удивлённо прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошёл Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвётся, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, становились всё более и более властными, захватывали сердце объединённой и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдалённому, но неумолчному рокоту, оставаясь всё время

спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, всё ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слёзы. Слёзы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда, — он прозрел», — думал Максим.

Среди яркой и оживлённой мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной, среди пёстрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни всё чаще, всё настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик, — мысленно ободрял Максим, — настигай их среди веселья и счастья…»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых…

— Подайте сліпеньким… р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было всё то, что было и прежде, когда под её влиянием лицо Петра искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с её разъедающей болью. Теперь он одолел её в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды… Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни…

Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел… На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных…»

И старый солдат всё ниже опускал голову. Вот и он сделал своё дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой…

Так дебютировал слепой музыкант.

Огоньки

Как-то давно, тёмным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под тёмными горами мелькнул огонёк.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко…

— Ну, слава богу! — сказал я с радостью. — Близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично[125] налёг на вёсла.

— Далече!

Я не поверил: огонёк так и стоял, выступая вперёд из неопределённой тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно далеко.

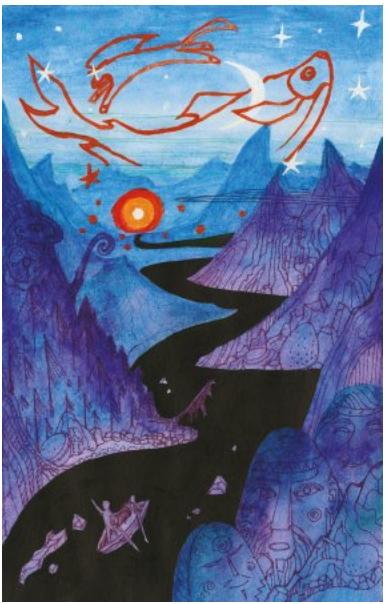
Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот ещё два-три удара веслом — и путь кончен… А между тем — далеко!..

И долго ещё мы плыли по тёмной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось,

---

[125] Примечания: 125
Апати́чно — равнодушно.

в бесконечной дали, а огонёк всё стоял впереди, переливаясь и маня, — всё так же близко, и всё так же далеко...



Мне часто вспоминается теперь и эта тёмная река, затенённая скалистыми горами, и этот живой огонёк. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь

течёт всё в тех же угрюмых берегах, а огни ещё далеко. И опять приходится налегать на вёсла…

Но всё-таки… всё-таки впереди — огни!..